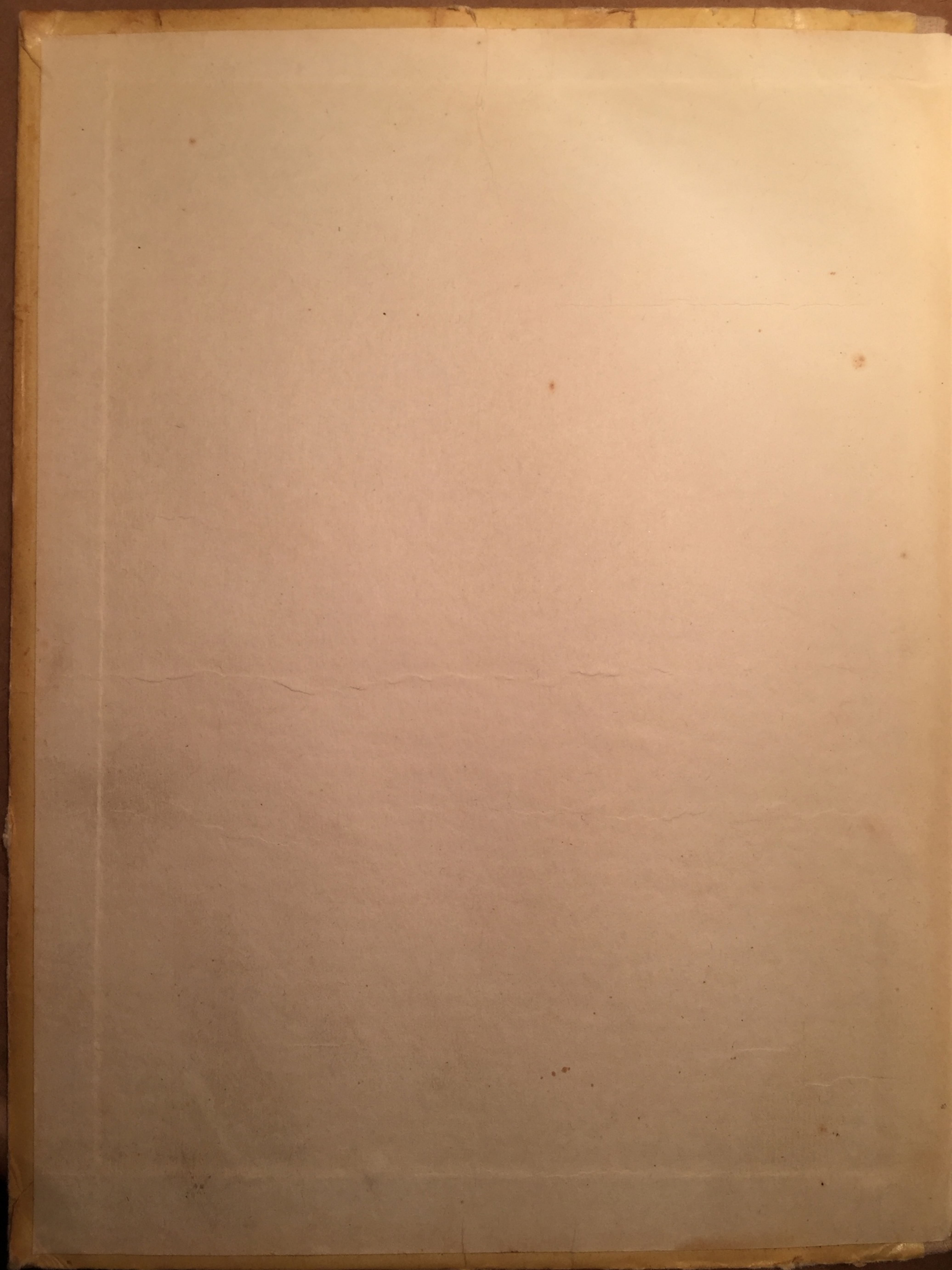
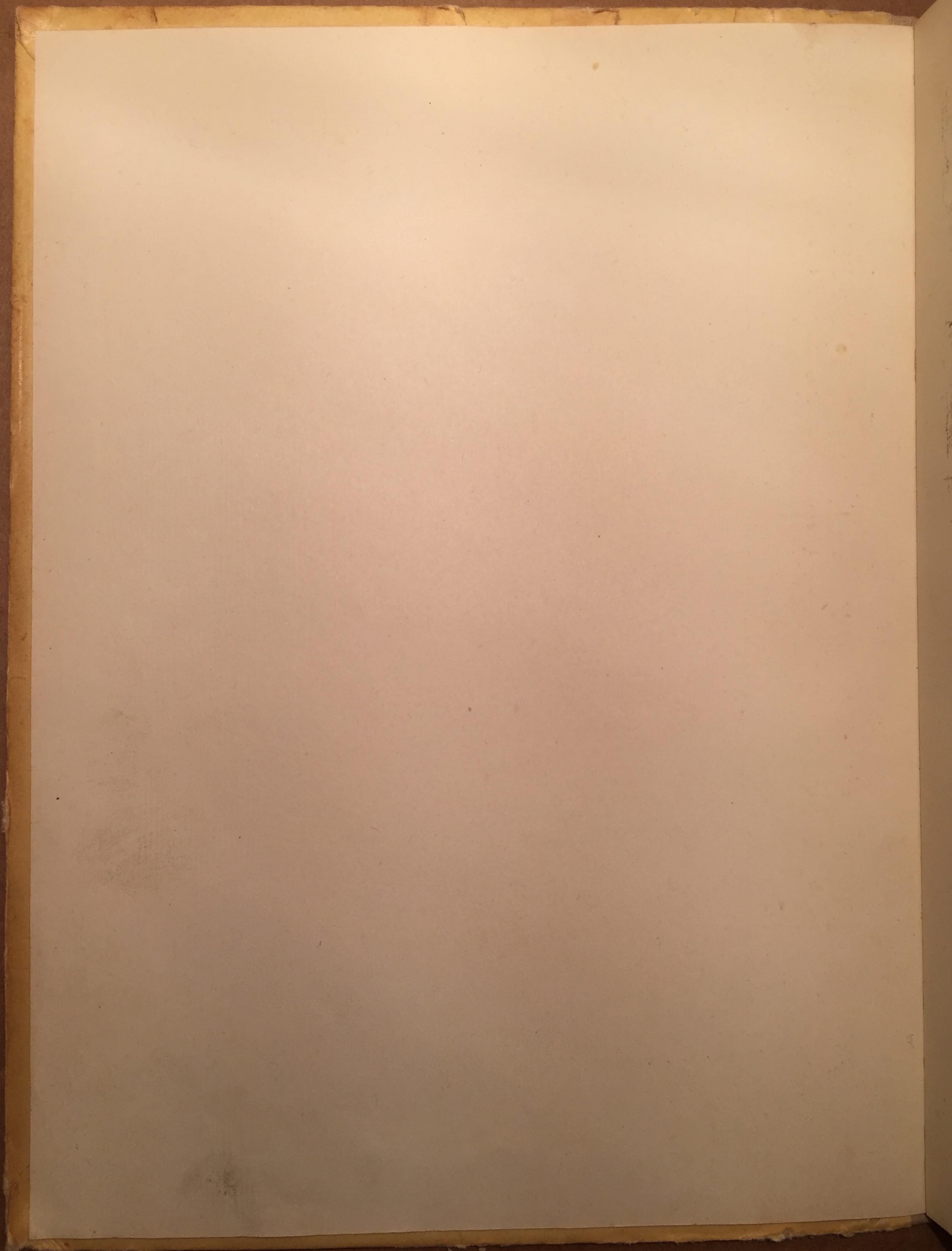




ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВ
ГОРЯЧИЕ ГИЛЬЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»







ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВ

ГОРЯЧИЕ ГИЛЬЗЫ

ПОВЕСТЬ



Рисунки

В. Бескаравайного

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1972

От автора

Мне выпало нелёгкое детство: во время войны я жил на Псковщине, в партизанском крае, на самой его границе. Всё время рядом с нашей деревней шли бои. Я видел, как отважно бьются партизаны с врагами. Много запомнилось навсегда.

Высоким был подвиг партизан. Дорогой ценой далась нам победа. Горят над обелисками алые звёзды. В братских могилах лежат партизаны. Люди помнят их имена, знают, как они бились с фашистами.

В моём краю все были партизанами, даже те, кто не носил оружия. Мы, мальчишки, изо всех сил старались помочь взрослым в их нелёгкой борьбе. А партизаны спешили уберечь нас от тягот большой войны...

События, о которых рассказывается в этой книге, не придуманы. Я изменил лишь имена людей и названия деревень.

Я помню очень многое, но обо всём сразу не расскажешь, поэтому я написал о самом главном.

У героя этой повести нет имени, я не хотел обидеть никого из сверстников. Назовём нашего героя так — мальчишка из Партизанского края.

ОГЛАВЛЕНИЕ



Тихое воскресенье	3
На своём дворе	8
Митькина пушка	14
Серёга и гуси	18
Комендатура	24
Ивовая корзинка	31
Горькие ягоды	38
Снег	41
Тихий немец	45
Балалайка	51
Хлеб	56
Цыганёнок	59
Гриша-мороженщик	64
Тигровая кошка	68
Валенки	74
Особое задание	79
Лес деда Семёна	85
Шелешнёвский бой	91
Ночной сенокос	97
За солью...	101
Василий из Перетёса	107
Золотая поляна	111
Ночные костры	118

Клад	124
Горячие гильзы	128
Печка	137
Моя школа	142
Ратные луга	150
Берёзовая газета...	155
Иван Фигурёнок	160
Возвращение	167

ТИХОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ



Серёге было шесть лет, мне шёл одиннадцатый. Отец и мать работали в колхозе, а жили мы в лесной деревне на берегу озера, в тихой северной стороне.

Деревня небольшая, в семь домов. Лес начинался сразу за нашим сараем: глухой, густой, сумрачный. По утрам на полянах токовали тетерева, в деревню забегали рыжие зайцы. На озере в потаённых береговых норах прятались выдры. Ружей в деревне было больше, чем ухватов.

В то утро мы с Серёгой сидели на камышовой крыше сарая и смотрели на опушку леса. По опушке, врубаясь в заросли травы, двигались косари. Отец шёл первым, было хорошо видно его кумачную, праздничную рубаху. За отцом поспевали остальные косцы. На лугу были все, кто мог держать косу: отец и сын Пантелеевы, два брата Порошиных, Огурцовы, Павлушины, даже дед Иван Фигурёнок. Наша мать шла одной из первых, а последним ковылял бородатый почтальон Антип. Он никогда не торопился, даже если нёс телеграмму. Белели косынки и рубахи, по-тетеревиному шипели косы...



Утро стояло чистое и погожее. Солнце горело, будто порох. На ёлках таяла смола, пахло молодым сеном. Мы с Серёгой ждали, когда наконец высохнет роса и косари вернутся в деревню. Отец обещал взять меня и Серёгу на озеро ловить раков: в такой день в воде видно каждую травинку...

— Идут... — выдохнул Серёга.

Будто со снежной горы, мы скатились с крыши, спрыгнули в заросли лопухов.

Косари вышли на берег озера, свернули на просёлок, растеклись по деревне. Отец с матерью шли под руку, отец нёс на плече две косы.

Отец повесил косы на изгородь, вынес из дома большое решето. Мы с Серёгой наперегонки бросились к озеру. Я было опередил братишку, но отец успел поймать меня за рукав, и Серёга, пыхтя, первым вылетел на покатый берег.

Пахло илом и водяными огурцами, покачивалась пегая от жестяных заплат плоскодонка. На песке валялась деревянная лопата, какой обычно сажают в печку хлебы. Отец стащил через голову рубаху, бросил на песок штаны, остался в сатиновых чёрных трусах. Вычерпал из лодки воду, усадил нас с Серёгой, подал мне решето.

Отъехали от берега за кромку зелёных камышей. Отец грёб лопатой, словно копал воду. Мы с Серёгой сидели не дыша. Наловить раков снастью — нехитрое дело, а наш отец умел ловить их руками. Руки у отца были удивительно ловкие и сильные: всё, что он ни делал, получалось быстро и ладно. Я часами мог смотреть, как отец отбивает и точит косы, чинит сети или заряжает патроны для ружья.

Дно озера было песчаным, и вода оттого казалась золотой. В зелёных прутьях камышей дремал латунный ка-

рась. Под корягами пряталась темнота. Отец шумно нырнул, уцепился за корягу. Он смешно двигал ногами, и волосы его развевались, будто трава...

Вынырнул — бросил в решето тёмного рака. Отдышался и ушёл под воду снова; вытащил сразу двух — тоже швырнул в решето. Раки таращили глаза, испуганно двигали усами.

Отец нырнул в глубину, туда, где смутно темнели камни; по воде пробежала цепочка пузырьков, разбежались и погасли круги...

Рак оказался огромным, занял сразу полрешета, и, увидев такого великана, остальные трусливо попятились. Отец глубоко дышал, будто прошёл трудный прокос. Тело у отца было белым, как молоко, только лицо и руки — коричневые от загара. По плечам скатывались большие, горячие на солнце капли воды...

— Кто это? — встрепенулся вдруг Серёга.

По берегу рассыпался стук подков, в разрыве кустов мелькнули белая рубаша и гнедая грива. Конь резко остановился, и наземь спрыгнул мальчишка из соседней деревни. Он кубарем скатился под берег, залетел по колено в воду, закричал что есть мочи:

— Ва-а-ай-на! Ва-а-ай-на!..

Отец резко развернул плоскодонку... Как всегда, Серёга первым спрыгнул на берег, схватил прут, понёсся, размахивая прут, будто шашкой.

Вот и дом. Мать стояла около косотына, развешивала для просушки чисто вымытые оранжевые кринки.

— Ва-а-ай-на! — закричал Серёга.

Мать вздрогнула, кринка бесшумно выскользнула из рук, затрещала, по земле рассыпались яркие черепки...

Отец надел покосную рубашу, обул яловые сапоги, положил в мешок четыре осьмушки махорки, буханку хлеба



и ружейные патроны. Снял со стены одностволку, поцеловал мать, потом меня, потом Серёгу.

— Пап, а как же?.. Сейчас самая ловля... — Серёга, ничего не понимая, смотрел на отца.

— Я скоро вернусь... — сказал отец.

— Завтра?

— Нет, не завтра... На нас напали фашисты.

Мать засуетилась, налила в бутылку молока, заткнула бутылку пучком соломы.

— А раки? — спохватился Серёга.

Мать развязала мешок, положила в него бутылку с молоком, пересыпала из решета раков. Мешок шевелился, будто живой...

Посреди деревни уже стояла готовая в дорогу повозка. В сборе были все мужики нашей деревни. Вокруг них толпились провожающие.

Мать, Дарья Пантелеева и Матрёна Огурцова плакали.

В последнюю минуту прибежал дед Иван с охапкой соломы и старым армяком.

Фёдор Павлушин взял в руки плетёные льняные вожжи и, взглянув на отца, сказал:

— Садись. Дорога не близкая.

— Я пешком. Прямой дорогой, по просеке. Хочу на лес посмотреть.

— Я провожу... — Мать с тревогой смотрела на отца.

— Не надо. Ведь не навсегда... Смотри за мальчишками.

Отец шёл опушкой и всё время оглядывался. Тропинка пробивалась сквозь заросли иван-чая, и казалось, отец идёт по огню. Фигура отца становилась всё меньше, пока совсем не растаяла в дымчатом мареве.

Я огляделся. Всё вокруг было таким, как прежде. Тишина стояла такая, что было слышно, как где-то далеко в лесу перепархивают с ветки на ветку рябчики, как пролетают над ёлками вороны. Озеро слепило, как зеркало. Чернела на отмели плоскодонка.

Около нашей изгороди, взглянув под ноги, я увидел оранжевые черепки. Встал на колени, принялся их складывать, но осколки не подходили друг к другу, кринка снова и снова рассыпалась...

НА СВОЁМ ДВОРЕ

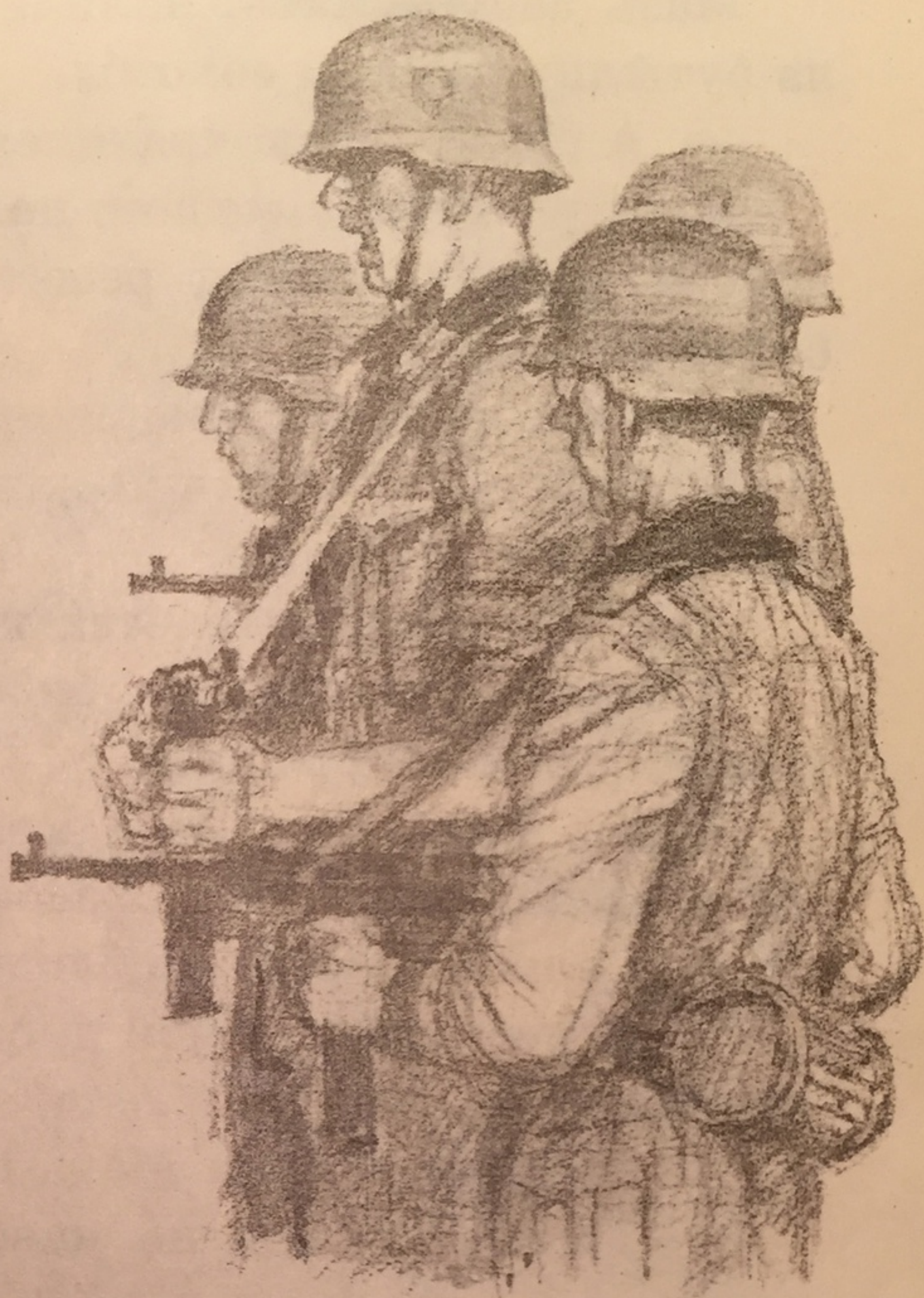


Прошло три недели. Все говорили о войне. На опушке остановился цыганский табор, и рядом с копнами сена поднялись полотняные палатки. Цыгане ловили сетями рыбу, собирали ягоды. В старой пекарне поселились беженцы — усталые, испуганные люди с чемоданами и узлами.

От отца пришло письмо с военной печатью. Письмо было короткое: отец, наверное, торопился, когда писал.

По просеке одна за другой проходили красноармейские колонны, катились тяжело гружённые подводы. На нашем сеновале заночевали шестеро бойцов — совсем ещё молодые парни в новеньких гимнастёрках, в пилотках с жестяными звёздочками. Красноармейцы помогли матери убрать в сарай колотые дрова, починили разбитое крыльцо.

Мать принесла бойцам ведро молока. Каждому досталось по целому котелку... Пили медлительно, по-мальчишески жмурясь. Самый старший протянул матери деньги, но мать их не взяла. Потом бойцы ушли. Мать заглянула в пустое ведро и ахнула: на донышке лежали красная тридцатка и кусок мыла. Кусок был большой, белый, со снежным запахом черёмухи...



И вдруг загромыхало за лесом. Грохот то приближался, то отдалялся. Вечером стало слышно, как стучат пулемёты. Над самой нашей крышей пронёсся зелёный самолёт с чёрными крестами на крыльях.

Наступила ночь, но пулемёты не умолкали. Над лесом вспыхивали разноцветные ракеты. Темноту пробивали слепящие вспышки. Мать тревожно смотрела в окно. Мы с Серёгой, одетые, лежали на полу. Серёга вздрагивал от страха. У меня не попадал зуб на зуб.

На утренней заре наконец перестало грохотать, смолкли пулемёты.

Я уснул, положив голову на руки.

Разбудил меня грохот колёс. Я бросился к окну. В деревню въезжала длинная вереница пятнистых фургонов. В упряжках тяжело шли буланные, короткохвостые битюги. В фургонах тряслись чужие солдаты, а сидели они так тесно, что каски со звоном ударялись одна о другую.

Будто камышинка, билась зелёная антенна походной радиации. Густо дымила походная кухня.

Обоз остановился, и фашисты горохом посыпались на землю, загалдели, застучали сапогами.

Трое автоматчиков перемахнули через изгородь, принялись срывать вишни. Солдаты торопились, словно добычу кто-то мог отнять, блаженно щурились, глотая переспелые ягоды. Подбородки солдат стали красными от вишневого сока.

В нашем саду стояла старая, под соломенным снопом, пчелиная колода. Солдаты достали из жестяных коробок противогазы. Спрятав руки в рукава, отворотили сноп, тесаками принялись кромсать золотые медовые слитки. Над касками отчаянно загудел огромный пчелиный рой.

Тоненький ефрейтор швырнул в озеро гранату. Голые немцы, крича, ловили оглушённую рыбу...

Солдаты рассыпались по деревне. Шли улицей не торопясь, уверенно, словно ходили по деревне тысячу раз до этого...

Взвизгнула дверь, и в нашу горницу ввалилась компания автоматчиков. Фашисты были словно пьяные.

— Убирайтесь! — крикнул огромный ефрейтор. — Квартира будут жить зольдаты!

Мать заметалась от сундука к вешалке, от вешалки к сундуку, схватила в охапку одежду, подхватила пустое ведро, сунула в ведро полотенце и ложки. Взглянула на нас с Серёгой, направилась к двери. Мы поплелись следом. Фашисты захохотали, кто-то бросил вслед подушку.

Мы спрятались в сарае. Мать сложила пожитки в угол, принесла охапку пыльного сена. Пахло гнилой соломой и мышами. В углу чернела глубокая нора — в ней жил хорь...

В темноту вошла наша соседка Матрёна Огурцова.

— Устроились? А мы в старой бане... Беженцев из пекарни выгнали в дровяник. Принесла им соломки... Будет страшно — приходите к нам.

— Спасибо! — ответила мать.

Я лёг, прижался к соломе, затаил дыхание. Мать пристально смотрела на меня: глаза её были тёмными от страха.

Решив, что людей нет, в соломе завозились мыши, но тотчас притихли: от стены к стене пробежал хорь ростом с молодую кошку.

В широкие щели было видно всё, что делается на улице. Фашисты ходили по нашему саду и шомполами сбивали яблоки. Добычу складывали в глубокие каски. Двое автоматчиков свалили берёзу и, сбив топором ветви, распилили на тонкие кружки. Принесли чёрную краску, вывели на каждом кружке цифру. Потом взяли молоток и гвозди,

прибили по кружку на каждые ворота. Прежде номеров в нашей деревне никогда не бывало: каждый и без того знал, кто где живёт.

В доме хозяйничали фашисты. Окна были распахнуты, слышались хриплые голоса. Во дворе пыхтела походная кухня, пахло мясными консервами.

Меня толкнул Серёга... Я ахнул: калитка нашего огорода была распахнута настежь, а на грядках паслись буланые битюги. Не помня себя, я вылетел из сарая, схватил хворостину, налетел на лошадей, принялся хлестать их что есть силы.

— Вон! Вон, проклятые!

Ко мне бросился повар в белом халате и огромных сапогах. Подбежал, сбил, принялся топтать сапогами. Сапоги были будто каменные. Я закричал от боли.

Потом я увидел мать. Держа в руках лопату, она молча шла на повара. Немец попятился, побежал к дому.

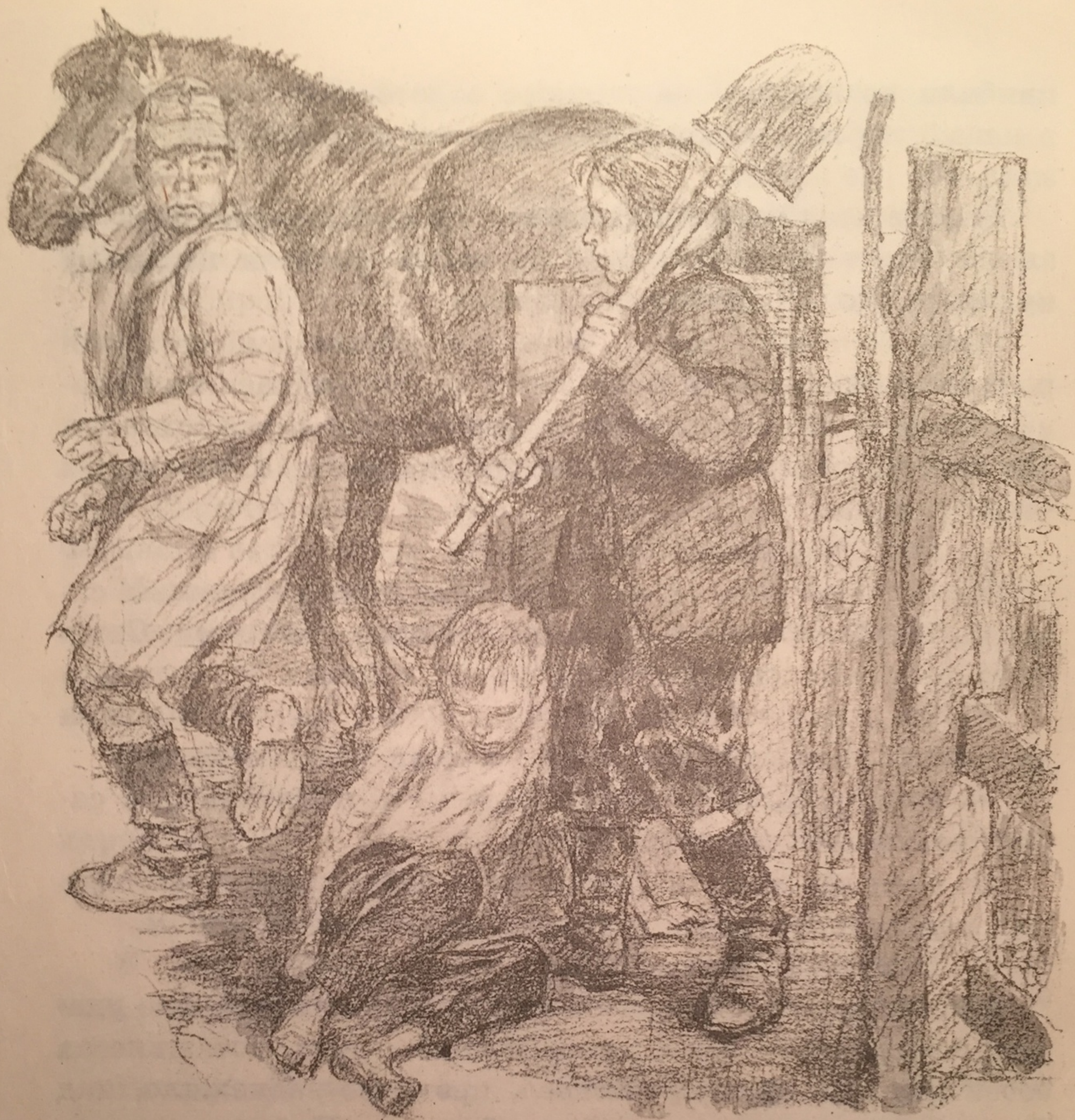
— В лес... бегом! — закричала мать и бросилась к сараю, подхватила на руки Серёгу.

От боли кружилась голова, ноги будто чужие; я с трудом перевалился через изгородь, заковылял к ёлкам.

— Быстрее! С ума сошёл...

Побежал, оступился, чуть не упал, по лицу тяжело ударила еловая лапа. Мать протянула мне руку, потащила за собой. Позади треснул выстрел, противно завизжало, над головой закружился кусок еловой коры... Побежали из последних сил. Снова треснуло, и снова завизжало. С ёлок посыпалась сухая хвоя. Ноги перестали слушаться, я упал в траву, прижался к тёплой земле. Мать положила рядом Серёгу, легла сама. Треснуло ещё раз, уже далеко. Из-за ёлок выкатился зайчонок. Увидев людей, испугался ещё сильнее, нырнул в заросли иван-чая...

Боль прошла, бежать стало легко. Серёга прижался к



матери, уткнулся лицом в платье. Мелькали ёлки, пни, копны хвоста, огнища, поляны, моховые кочки, коряги.

На глухой поляне мать остановилась. Я снова лёг в траву. Было солнечно, тихо, с ветки на ветку перелетали дикие голуби... Потом мать нарвала малины, дала нам с Серёгой по горсти ягод. Напились из родника-кипуна.

Когда стемнело, устроились под огромной ёлкой. Прижались друг к другу, затаились. Лежали, прислушиваясь

к каждому шороху. Ночью сквозь ветки костром светлела луна, на дальней мшарине ухала выпь, возились вверху какие-то птицы.

Вдруг земля вздрогнула, по лесу словно прокатилась железная бочка. На мгновение стало светло. Снова загрохотало, где-то невдалеке бешено застучал пулемёт. Серёга прижался к матери, обнял её. Грохотало до самой зари, от стрельбы звенело в ушах...

Рассвело. Трава была засыпана росой, крупной, будто картечины. Ничто не нарушало тишины...

— Ау! А-у-у! — раскатилось вдруг по лесу.

Мать порывисто встала, закричала. Затрещали ветки, и на поляну выбралась Матрёна Огурцова.

— А мы вас ищем. Всей деревней. Убрались, окаянные... От страха. Бой на большаке был — наши дрались, партизаны.

— А кто это — партизаны? — спросил Серёга тихо.

— Скоро увидишь! — улыбнулась Матрёна.

Мы вышли к озеру. По противоположному его берегу катился обоз — тот самый, что утром въехал в нашу деревню. Полевая кухня двигалась в самом хвосте, смутно темнела каска повара...

Мы вернулись домой. В горнице и в сенях пахло карболкой. Около порога стоял пустой сундук, пол был завален соломой. В соломе что-то золотилось. Я наклонился и поднял обойму патронов.

Патроны были тоненькие, с острыми пулями.

— А ты у нас храбрая! — сказал матери Серёга.

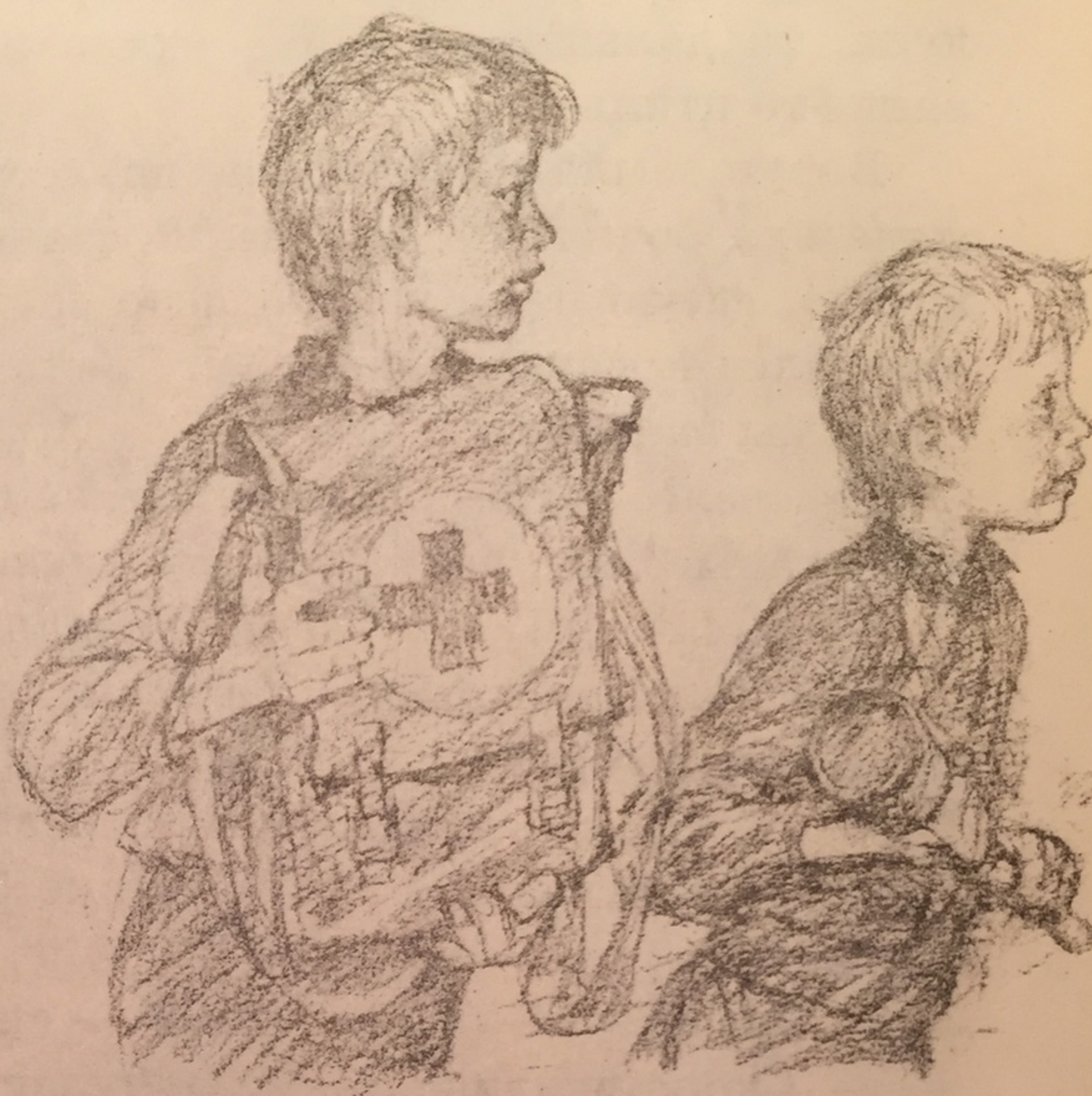
— Нет, — покачала мать головой. — На своём дворе и курица рогата...

Я притащил к воротам лестницу, взял топор, поднялся по лестнице, сшиб топором берёзовый кружок. На деревяшке темнела цифра «7», похожая на кочергу.

МИТЬКИНА ПУШКА



В доме поселился страх. Особенно страшно становилось ночами. Засыпая, я до звона в ушах вслушивался в тишину — вдруг снова застучат тяжёлые колёса фургонов. Просыпался даже от лёгкого шороха и думал, думал... Война была как страшный, непонятный сон. Казалось, проснёшься — и всё как было...



Под вечер мы с матерью чинили поломанный косотын.

Рядом вдруг застучали подковы: по улице ехали четыре всадника, обыкновенные парни на обыкновенных деревенских гривачах. Вместо сёдел — подушки, вместо стремян — проволоочные кольца. Короткие кавалерийские карабины, ремни, под сумки, гранаты...

— Партизаны! — сказала мать и даже руками всплеснула.

Со всех сторон к партизанам бежали люди. Остановили, окружили. Кто тащил кринку молока, кто — целое ведро яблок. Мальчишки во все глаза смотрели на карабины и самодельные портупеи. Наш Серёга потрогал проволоочные стремяна, потрепал гриву невысокого коня.

Подбежал Митька Огурцов:

- Хлопцы! Товарищи! Возьмите с собой...
- Оружие имеется?
- Одностволка есть. Можно с одностволкой?
- Вот если бы ты пулемёт нашёл... Патронов побольше!

И партизаны с гиком умчались в лесную темноту.

Митька вздохнул, поплёлся прочь. Он был невысок, худощав, похож на подростка. В армию его не взяли: шестнадцать лет да и здоровье слабое.

Наутро, едва рассвело, я стащил с печки берестяной кузов. Вместе с Серёгой мы отправились на дальние гари. Там были окопы. Собирали патроны, как собирают ягоды. В кустах наткнулись на сумку с бинтами и лекарствами. Отыскивали тяжёлую гранату.

Вышли к неглубокому болотному озеру. Берег его был изрыт воронками. В воронках стояла ржавая вода. Возле самого берега торчал из воды ствол затонувшей пушки.

Вдруг вода забурлила, и вынырнул голый Митька Огурцов. Отдышался, снова нырнул.

Мы с Серёгой смотрели во все глаза. На берегу горкой лежала Митькина одежда. Рядом — мокрые зелёные ящики. Под берёзой стоял конь в упряжи.

— Пойдём, — шепнул мне Серёга. — А то попадёт...

Гранату, патроны и санитарную сумку мы спрятали на опушке. Матери сказали, что искали грибы, но ничего не нашли. И с нетерпением стали ждать вечера — приедут партизаны, а тут и мы с подарком...

Мать поверила нашему рассказу, усадила за стол, налила по большой кружке молока. Присела у окна и ахнула...

— Батюшки светы! Орудие!

Забыв о молоке, мы с Серёгой пулей вылетели на улицу. Пегий конь, которого вёл под уздцы Митька Огурцов,



— Ну такого героя попробуй не возьми!

тащил противотанковую пушку — зелёную, длинноствольную, с невысоким щитом, на колёсах, как у мотоцикла. Пушка уже обсохла на солнце, сияла смазкой. Около сарая Митька выпряг коня, снял с лафета зелёные ящики.

— А ну помогите! — попросил набежавших мальчишек.

Пушку развернули стволом в сторону старой, брошенной бани. Митька, заглядывая в ствол, принялся крутить какие-то колёсики. Конец ствола пошёл в сторону, поднялся вверх... Митька выхватил из ящика гильзу с остроносным снарядом, вставил в казённик, щёлкнул затвором.

Мальчишки в испуге попятились... Митька приоткрыл рот, рванул на себя зелёный шнур. Грохнуло так, что у меня заложило уши. Митька спокойно выбросил гильзу, продул ствол, будто самоварную трубу. В бане, около самого оконца, чернела дыра величиной с яблоко.

На банную трубу был надет горшок без дна. Прищурясь, Митька навёл ствол пушки на трубу. Грохнуло, и горшок рассыпался чёрной пылью...

— Партизаны! — закричал кто-то рядом.

Берегом озера летели на конях те самые четверо парней. Спешились около пушки.

— Противотанковая? Где достал?

— Достал, — нахмурился Митька. — Может, и теперь не возьмёте?

— Ну, такого героя попробуй не возьми!

В пушку впрягли сразу двух коней. Митька побежал домой, вернулся в праздничном костюме со значком «Ворошиловский стрелок».

Мы с Серёгой со всех ног бросились за своим подарком — притащили гранату, патроны и санитарную сумку.

— Вот это деревня! — сказал партизан постарше. — Глядишь, целый самолёт подарят, четырёхмоторный!

СЕРЁГА И ГУСИ



Несколько дней где-то пропадал почтальон Антип Бородатый. На дверях его дома висел огромный ржавый замок. Прежде я никогда замков не видывал: в нашей деревне их просто не было.

Жил Антип бобылём и любил рассказывать, как жили в ту пору, когда он был молодым.

— Нынче не то... — вздыхал Бородатый. — Всё смельчало. И лес ниже, и рыба мельче. Да что рыба, червяк-то и тот мелкий пошёл...

Объявился Антип так же неожиданно, как исчез. Ни с кем не здороваясь, хмуро зашагал к дому. Одет он был в немецкую шинель, на голове каска, на ногах кованые сапоги. Белая повязка на рукаве, карманы набиты патронами, а за плечом карабин, похожий на коровью ногу. Он вынес из дому молоток и гвозди. Притащил из лесу моток колючей проволоки, оплёл колючкой покосившийся косо-тын. Потом вырубил три ольховые палки, сколотил шагомер и, отмерив на берегу огромный участок, поставил межевые вехи.

Вечером Антип снова закрыл дом на замок, берегом озера пошёл в соседнюю деревню Кожино.



А наутро случилось вот что.

Мать собирала в котелок спелый крыжовник, а мы с Серёгой ей помогали. Мимо сада вдруг с грохотом пронеслась телега. В телеге сидел Бородатый. На передке подпрыгивала огромная плетёнка, в каких носят солому и сено. Корзина была обвязана мешковиной.

Возле своего дома Бородатый резко остановил коня. Бросил вожжи на плетень, развязал мешковину. Корзина опрокинулась, раздался отчаянный треск тяжёлых крыльев, и наземь посыпались серые домашние гуси.

Перепрыгнув через изгородь, Антип подошёл к матери.

— Вот что. Работа имеется, — сказал он. — Платить буду картошкой. Только без озорства: яйца не воровать, гусей не лупить. Пасти могут по очереди: полдня — меньшей, полдня — старшой... Ну, пока!

— Мам, а может, не надо? — спросил братишка.

— Идите... Лучше не спорить.

Я выломал прут, Серёга поднял хворостину, и мы поплелись к гусиному стаду. Гуси яростно гоготали, выгибали шеи, оглушительно хлопали крыльями. Всех громче гоготал огромный гусак с оранжевой шишкой на лбу, в жёлтых «сапогах», с подрезанными крыльями.

— У-у, страшила! — нахмурился брат.

Гусак зашипел и, вытянув шею, двинулся на нас, а за ним хлынуло и всё стадо. Мы с Серёгой в мгновение ока взобрались на плетень и повисли, уцепясь за высокие колья. Гусь успел ущипнуть меня за пятку — клюв у него был будто из железа.

Покричав, гуси направились к озеру... Доберутся до воды, заплывут бог весть куда — днём с огнём не найдёшь! Мы с Серёгой бросились наперерез. Страшила запрыгал от ярости, налетел на нас чёртом. Мы, пятясь, начали отступать к сараю. Из переулка выкатилась огромная дворняга,

врезалась в гусиный строй. Серёга налетел на пса, выжег хвостом. Поджав хвост, дворняга бросилась наутёк, забила под наше крыльцо. А гуси налетели на Серёгу...

Вечером пришла мать, и мы втроём загнали гусей в сарай. Дома на столе нас ждало парное молоко. Но мы с Серёгой ужинать не стали — шатаясь от усталости, добрались до кровати, легли на одеяло. Серёга сразу же уснул. У меня болела голова, гудели ноги. Когда уснул, увидел, что за мной гонятся гуси: огромное крикливое стадо. Подбежал к берёзе — попятился: гуси, как тетерева, сидели на ветках...

Бородатый дома не ночевал: боялся партизан. Приехал он снова утром. На телеге, свесив ноги в тяжёлых немецких сапогах, сидели ещё четыре полицаи.

Полицаи поставили возле крыльца самогонный аппарат, развели огонь. Аппарат был обыкновенный: два горшка, корыто и трубка — ствол от старинного ружья. На конце ствола покачивалась суровая нитка. Когда огонь разгорелся как следует, по нитке побежали мутные капли.

Бородатый принёс из сарая три больших белых гусиных яйца, отогнал от стада молоденького гусака.

Гусака пристрелили из карабина, зажарили на углях. Яйца испекли в золе. Пили кружками самогон, старательно закусывали. Нам с Серёгой хотелось есть, но полицаи не дали даже маленького кусочка мяса...

Вечером мы с Серёгой снова едва доплелись до постели. — Давай их отравим, — шепнул Серёга. — Толчёным стеклом...

— Не надо, догадается!

— Или на озеро пустим... В камышах — выдра.

— Нельзя, попадёт...

А утром Бородатый принёс ещё пять гусей. Подошёл к матери, хмуро глянул:

— Если кто спросит, чьи гуси, скажешь, что ваши. За работу заплачу осенью. Если что случится, гуси пропадут — сведу со двора корову. Поняла?

— Как не понять... Дело ясное...

Бородатый зашагал к своему дому, поднялся на крыльцо и вдруг рывком открыл дверь, нырнул в сени.

По улице верхом на лошадях мчались партизаны, человек десять. Партизаны быстро спешили, кольцом окружили дом полицая. Митька Огурцов первый взбежал на крыльцо, с винтовкой наготове вошёл в сени.

Прошло несколько минут. С треском открылось окно, и Митька высунулся по пояс:

— Пусто... Успел удрать!

— Он там! Мы видели! — закричал Серёга, подлетев к партизанам.

Митька захлопнул окно. Нахлынула тишина. Потом открылась дверь. С поднятыми руками с крыльца спускался Бородатый, лицо его было в саже.

— В печке спрятался... — улыбнулся товарищам Митька. В одной руке он нёс свою винтовку, в другой — карабин полицая. — А эту штуковину в подвал кинул!

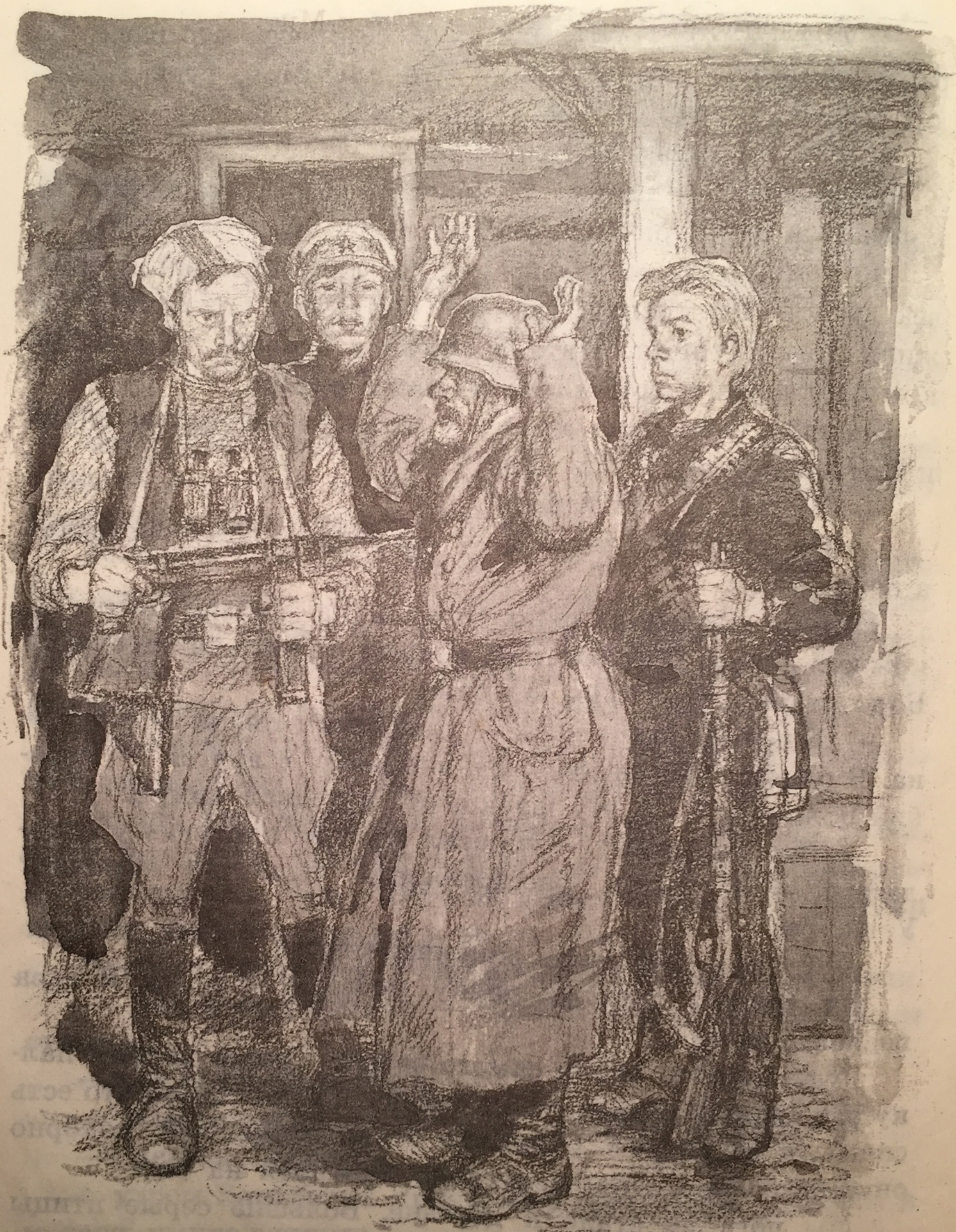
— Что, страшно? — спросил один из партизан у Бородатого. — А цыган расстреливать было не страшно? У, шкура!

— Гуси! — вспомнив, закричал Серёга.

Он схватил тяжёлую палку, побежал к озеру. Я едва поспевал за ним.

Гуси паслись около самого берега. Серёга поднял палку над головой, двинулся на гусака. Размахнулся что есть силы... и не ударил. Страшила стоял печальный, покорно опустив голову. Гуси испуганно смотрели на нас.

Мы погнали стадо к деревне. Большие серые птицы шли медленно, послушно, будто пленные.



— Что, страшно? — спросил партизан у Бородатого. —
А цыган расстреливать было не страшно?

— Чьё стадо? — шагнул навстречу Митька Огурцов.

— Его... — Я показал на Антипа.

— Где брал гусей? У кого? — Митька резко повернулся к полицаю.

— На Горбовом хуторе. За озером.

— Отлично. Вернём гусей хозяевам. А, пацаны?

— Вернём, — согласился Серёга.

Партизаны увели Антипа.

Мы загнали гусей в лодку, мать принесла вёсла и черпак.

Плыли долго: озеро было широкое. Мать гребла, я вычерпывал воду.

Серёга сидел рядом со Страшилой и потихоньку гладил недавнего врага. Гусь важно кивал оранжевым клювом.

Вот и противоположный берег. Гуси тревожно оглядывались по сторонам: они узнали знакомые места. Страшила взмахнул крыльями, грузно плюхнулся в воду. За ним — остальные. Торопливо, перегоняя друг друга, гуси поплыли к песчаной косе.

КОМЕНДАТУРА



Война только началась, но всё, что было до неё, казалось далёким-далёким. И всё вокруг резко переменялось. Прежде, когда я смотрел с крыльца на лес, он представлялся мне огромным сказочным городом. С тех пор как ушёл воевать отец, лес потемнел, стал похожим на огромное войско: ёлки стояли, будто высоченные солдаты в тёмных шинелях. Переменялось даже небо. Раньше оно было весёлым, а теперь стало хмурым. И солнце светило уже не так...



В тот день мы с мальчишками играли в прятки. Я спрятался в саду.

Вдруг раздался оглушительный топот: казалось, по деревне катится стадо. Раздвинув ветки, я увидел мелькающие зелёные каски. Валом валила фашистская пехота. В такт шагам подпрыгивали на плечах карабины и ручные пулемёты.

Следом за пехотой двигался длинный обоз. Обыкновенные крестьянские кони, телеги на железном ходу...

Лошадей вели под уздцы низкорослые солдаты.

Повозки были нагружены мешками с мукой, связками

овчин. Покачивался огромный, окованный медью сундук.

Наконец показалась хвостовая подвода — тяжёлая двуколка, заваленная снопами соломы. На снопах восседали фельдфебель и офицер в каляном дождевике. Из соломы торчал ствол пулемёта. За подводой трусила комолая тёлка, привязанная к грядке короткой гремучей цепью...

Обоз выкатился за околицу, двинулся к соседней деревне.

— Ух, уехали! — Я облегчённо перевёл дух.

Рядом стояла мать. Лицо её было хмурым.

— Скоро, сынок, и до нас доберутся, если сами не отдадим...

— Что отдадим? Кому?

— Приказано сдавать продукты. В комендатуру. В Кожине теперь комендатура.

Наутро мать вынесла корзинку куриных яиц. Большое решето она выстелила куделью и уложила яйца так, чтоб не разбились.

Серёгу оставили дома — в комендатуру пошли вдвоём.

На краю Кожина, возле крытого тёсом пятистенка, стоял часовой с автоматом.

На окнах пятистенка — проволочные сетки, на крыльце — чёрный станковый пулемёт, похожий издали на озёрную корягу.

В стороне, под липами, горой лежали оранжевые от ржавчины ружья, сломанные винтовки, тусклые артиллерийские гильзы, погнутые штыки и охотничьи капканы. На яблоне висело шомпольное ружьё Ивана Фигурёнка — всё в медных заплатах.

Оружие, ещё пригодное для стрельбы, неторопливо отбирал и откладывал в сторону пожилой немец в очках с золотой оправой. На куске холста лежал длинный тавол-

говый шомпол, в траве темнела большая банка с керосином.

Продукты принимал другой немец — краснощёкий парень в белом халате. Он стоял среди ящиков, что-то записывал в толстую тетрадь, придирчиво осматривал принесённое.

Масло пробовал на вкус, мясо по-собачьи обнюхивал, куриные яйца подолгу рассматривал на свет.

С крыльца, звякая шпорами, спустился офицер в голубоватом мундире и высоких сапогах. Вслед за офицером хромой полицай вёл на цепи косматого крапчатого пса. Офицер держал в руках тяжёлый словарь. Остановился под ёлками, хрипло заговорил:

— Куропатка. Гуска. Ворона. Чечерев...

— Тетерев, — нахмурившись, произнесла мать.

Снова заскрипели ступени крыльца. Из комендатуры вышла Матрёна Огурцова, босая, в стареньком сером платье. Шла она медленно-медленно. Свернула на тропинку, заковыляла к лесу. Сзади платье у неё было красным...

— Что, видели? — захохотал хромой полицай. — Ружьишко прятала. Ну и высыпали горячих. То-то... Шомполов у нас на всю волость хватит!

Крапчатый пёс громко и яростно залаял.

Офицер был высокого роста, тонконогий, нарядный, с узким и бледным лицом. На голубоватом френче — плетёные серебристые погоны. И весь он будто нарисованный, ни одного пятнышка на одежде, лицо словно из белого камня вытесано.

— Комендант, — шепнула мне мать.

Ночью, дома, я никак не мог уснуть. Мать куда-то ушла и вернулась только к полуночи. Присела рядом со мной на кровать:

— Слышал? Ещё два парня ушли к партизанам. Коль-

ка Пантелев и Колька Порошин. Спи, сынок... Всё будет как надо.

Мои беды обычно забывались за ночь. Но на этот раз и утро не обрадовало. Ни на минуту не отступала непонятная тревога.

Выглянуло солнце и тут же скрылось в кипении облаков. Облака затянули всё небо. Потемнело, подул ветер, и озеро сделалось волнистым, бурым, будто пашня.

Как всегда в плохую погоду, начали ловиться налимы.

Дед Иван поставил на ночь перемёты и принёс утром в деревню целую корзину рыбы.

На другой вечер, едва стемнело, мы с Серёгой были у ручья. Снасть закинули в самом устье, на выходе в озеро.

Возвращались домой в потёмках.

— Там... ходит кто-то... Слышишь? — Серёга замер на месте.

Я долго всматривался в темноту. За ручьём лежало поле скошенной ржи, темнели высокие стойки. Почудилось, что стойки медленно плывут в сторону Кожина. Донёсся лёгкий шорох соломы.

Я схватил Серёгу за руку, потащил к лесу. Выбрались на просеку, припустили к дому... Вот наконец и деревня. И тут же отрывисто стукнул выстрел, вспыхнула и рассыпалась огненной пылью белая ракета. Почти в ту же секунду заголосили пулемёты, и над озером, над полем повисли огненные полосы от трассирующих пуль. Зарябило в глазах от бесчисленных вспышек.

Я толкнул брата в траву, упал плашмя сам. Пули со стоном пролетали над самой головой, щёлкали по глинистому косогору.

С крыльца сбежала мать, заметалась по саду. Я крикнул, но в грохоте стрельбы сам не услышал своего

голоса. Встал, замахал руками... Мать подбежала, схватила в охапку Серёгу.

Стало светло: над озером вполне поднялось слепящее пламя. Горела комендатура. С порывом ветра долетел грохот обвалившейся кровли.

...Прошло, наверное, много времени. В лесу и за озером стояла тишина.

Зарево пожара погасло, над Кожиним горела высокая заря: вот-вот взойдёт солнце. Тучи откатились на запад, и большая часть неба была чистой.

Мать сидела под елью, держа на коленях уснувшего Серёгу.

По берегу озера к Кожину торопливо шли люди.

— Ты куда? — спросила мать, тревожно взглянув на меня.

Но меня уже ничто не могло остановить. Задыхаясь от бега, я припустил по просеке. Я должен был сам всё увидеть...

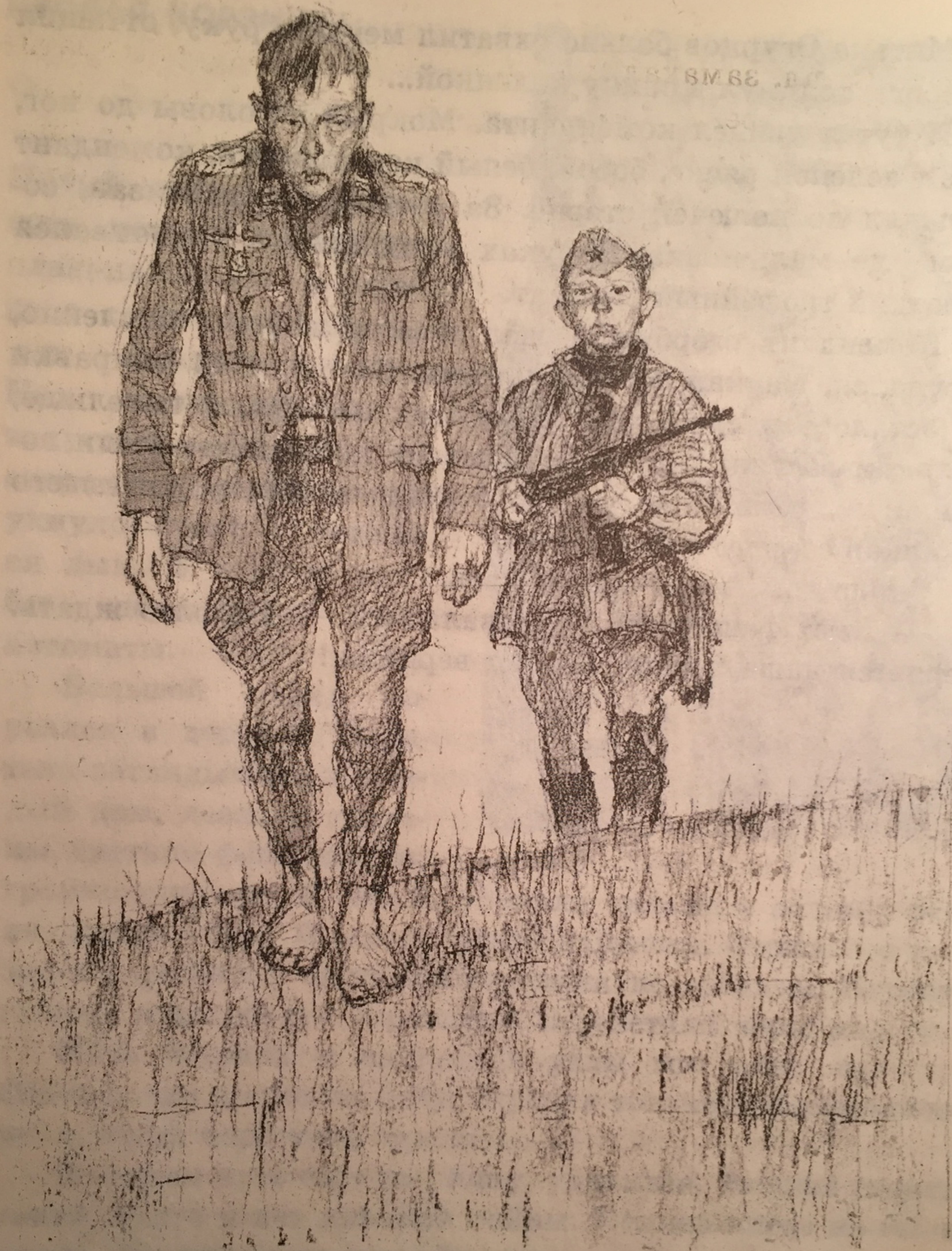
На месте комендатуры чернело круглое пепелище. Уцелело только крыльцо, построенное из сырого леса. Посреди крыльца стоял станковый пулемёт, а возле перил лежал рыжеволосый немец, правая рука его свесилась вниз.

Под ёлкой белел огромный ящик, полный куриных яиц. Повсюду валялись пулемётные ленты, коробки из-под патронов, стреляные гильзы. Попалась под ноги пишущая машинка... Сапёрные лопатки, фляги, солдатские сапоги, книжка в кожаном переплёте... Одурающе пахло гарью.

На берегу озера стояли подводы. На них грузили оружие. Карабины и автоматы лежали на телегах, будто дрова.

В стороне несколько партизан копали глубокую яму. Среди ёлок, под берегом и на ржаном поле лежали убитые.

— А ты здесь зачем?



*Мокрый с головы до ног, босой, комендант ковылял по стерне,
а за ним шагал партизан, совсем ещё мальчишка.*

Митька Огурцов больно схватил меня за руку, оттащил к дороге, толкнул в спину коленкой...

И тут я увидел коменданта. Мокрый с головы до ног, весь в зелёной ряске, босой, белый как полотно, комендант ковылял по колючей стерне. За ним шагал партизан, совсем ещё мальчишка. В руках у партизана покачивался короткий трофейный автомат.

Комендант сгорбился, шёл по-стариковски медленно, оступался, шаркал босыми ногами. От прежней выправки не осталось и следа. Он покосился на чёрное пепелище, мельком взглянул на меня. Глаза у коменданта были водянистые, тёмные от ужаса, безумные, как у попавшего в капкан старого хорька.

Около дома меня ждала мать.

— Бьют фашистов! — сказала она. — Недолго ждать. Вернётся наша армия. И отец вернётся!

ИВОВАЯ КОРЗИНКА



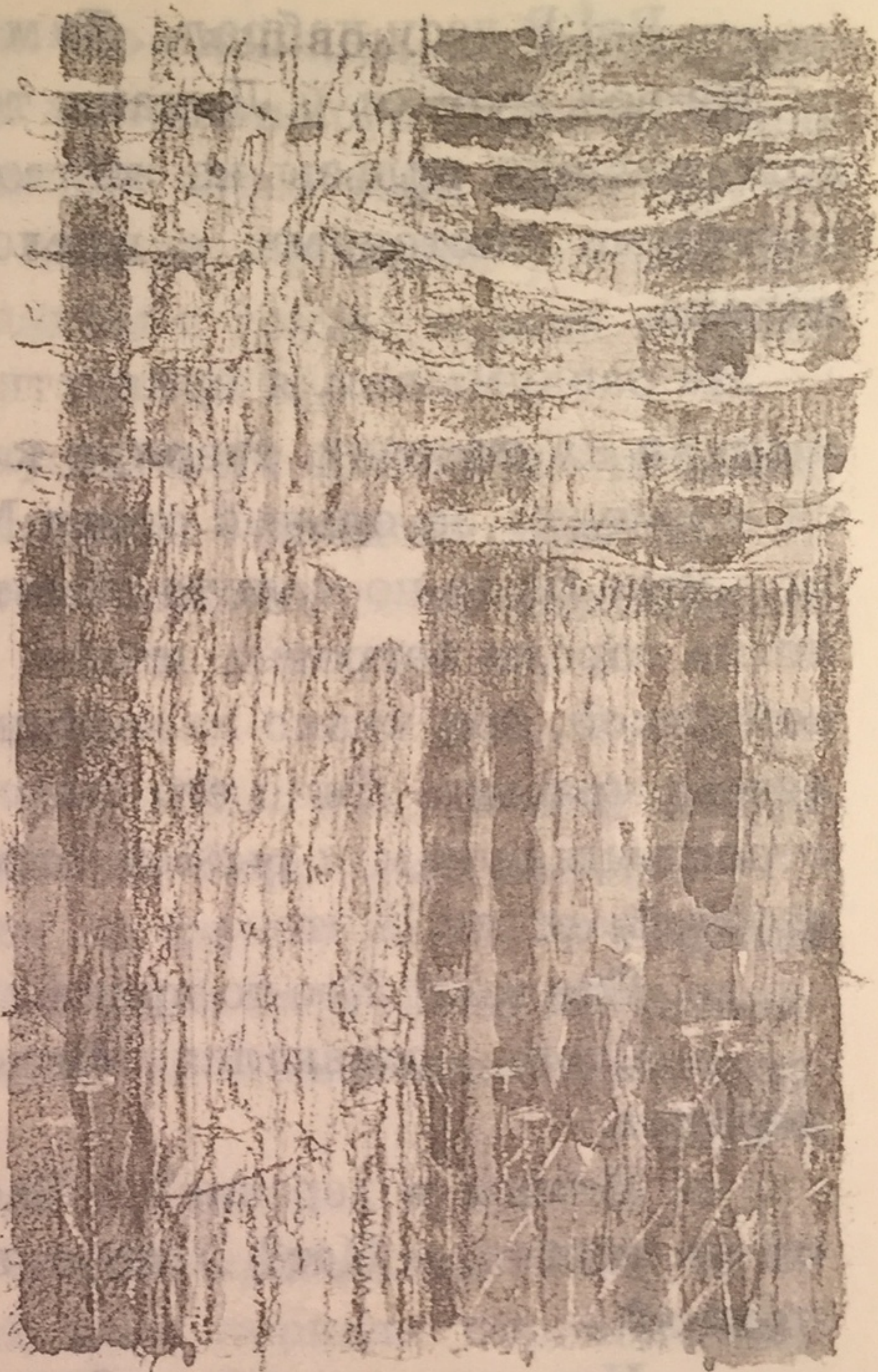
Целый день по дорогам шли немцы в пёстрых плащ-палатках, в кованых сапогах, в обтянутых сетками шлемах. Над лесом кружились испуганные вороны. За озером несколько раз ухнуло, столбом поднялся дым. В глубине леса без передышки били автоматы.

Большой отряд ворвался в деревню. Каратели заглядывали в каждый дом, лезли в подвалы, светили фонариками, громко кричали. В сараях торкали вилами в солому, раскидывали сено... Я понял: ищут партизан. Отрывисто гремели карабины: фашисты стреляли по собакам. Перепуганные куры, будто куропатки, перелетали через дорогу...

Мать собрала и связала в узлы всю нашу одежду. Спать легли прямо на полу. Я уснул только в самом конце ночи, когда перестали стрелять...

Выбежав чуть свет на улицу, удивился. Тишина стояла такая, будто и нет никакой войны. Немцев нигде не было видно. По просёлку спокойно разгуливали вороны.

Навстречу мне бежал Ликаня Пантелеев. Он что-то тащил в подоле рубахи.



— Во! В лесу набрал... Там ещё много!

Из-под рубахи у Ликани торчал голый живот, а в по-
доле звенели гильзы из жёлтой меди — длинные, с разно-
цветными пистонами, с кисловатым запахом сгоревшего
пороха.

Не раздумывая, я припустил к лесу, влетел в чащу, вы-
нырнул на просеку, свернул к тихому ручью... И попятил-
ся в испуге: за ольхой стоял Митька Огурцов. Правая но-
га у него была по колено обмотана куском полотна. На по-
лотне горели багровые пятна. Рядом, под большой шатро-
вой ёлкой, под низко нависшими лапами, будто в шалаше,
лежал человек. Лицо его было сплошь забинтовано, но по
огромным рукам и рыжей бороде я узнал кожинского па-
стуха Василия Шитого.

— Кто там? Кто-то пришёл? — глухо спросил Василий.

— Свои, — отозвался Митька. — Мальчонка из нашей
деревни.

— Немцы в деревне? — Василий с трудом приподнял-
ся на локтях. — Нет? А партизаны? Кого-нибудь видел из
наших?

— Нет, не видел... — Отвечая, я боялся взглянуть на
Василия.

— Вот что, — сказал Митька, — беги скорее в деревню,
скажешь моей матери... Сам понимаешь, что надо сказать.
Кроме неё, никому ни слова...

— Ночью приходи. Принеси сети, — попросил Шитый.

Матрёна собирала в саду яблоки, бережно укладывала
их в плетёнку. Выслушав меня, вскрикнула, выпустила
плетёнку, и яблоки раскатились в разные стороны по
траве.

Своей матери и Серёге я не сказал ни слова. Еле-еле
дождался ночи... Шитого любил мой отец. Василий был
добродушный, тихий, «рахманный», как говорили в дерев-

не. Долго его считали трусом. Но однажды случилась драка: трое парней налетели на молоденького учителя. Одно-го из парней Шитый перекинул через тын, двух других стукнул лбами. На помощь парням бросился рослый мужик. Пастух ударил его кулаком в грудь, мужик отлетел и опрокинул копну соломы...

Когда мать и Серёга уснули, я на цыпочках подошёл к окну, открыл скрипучие створки, тихонько спрыгнул на гряды. В сарае снял с гвоздя отцовские сети. Потащил их волоком к лесу.

За сараем меня догнала мать.

— Погоди-ка!.. Вот, отнеси! — Она сунула мне полка-равая хлеба, узелок со снедью. — Скрытный какой!..

Василий и Митька сидели на берегу озера. В темноте смутно белели повязки. У Василия и ноги были забинтованы. В траве лежали яблоки, поблёскивала молочная кринка.

— Принёс? — тихо спросил Василий.

— Принёс... И ещё вот это, мать прислала...

Под берегом на песчаной косе чернела плоскодонка, звёздами горели жестяные заплаты. Плёс тонул в тумане: самое время для лова.

Нужно было приготовить сети для заброса. Я видел, как это делал отец; распустил узел, перебрал полотно, уложил его так, что поплавки оказались слева, а грузила — справа. Митька помогал мне.

Сети сбросил за камышами; по плёсу протянулась длинная цепь берестяных поплавков. Привязал лодку к кустам и вернулся к ёлке. Василий спал, разметав руки.

На ёлке заухал, хрипло захохотал филин. Он мог разбудить Шитого. Митька запустил в филина палкой, и пугач нырнул в темноту.

На заре я выбрал намокшие сети. Улов был хороший:

крупный ёлинь, похожий на медный поднос, полдюжины окуней, четыре краснопёрки и огромная, в жёлтых звёздах щука.

Рыбу выпотрошили, уложили в котелок с водой. Костёр Митька развёл в овраге. Я лёг около костра, закрыл глаза и вдруг увидел голубоватую воду. На коряге сидел филин, мимо него проплывали полосатые окуни...

Когда проснулся, было уже утро. Василий сидел под ёлкой. Казалось, вместо лица у него ком снега.

— Ухи отведаешь? — спросил Василий и протянул мне деревянную ложку и котелок. — Сети, наверное, уже высохли. Погода как на заказ. Теплынь. Ночью роса была...

Василий говорил неторопливо, негромко. Наверное, ему было очень больно. Если молчать, станет ещё тяжелее. Когда молчишь, боль всегда становится сильнее. Большие руки Шитого не находили себе места.

Из чащи на одной ноге выпрыгнул Митька, положил на траву около Василия пук мокрых ивовых прутьев.

Плести было тяжело. Василий тряхнул головою, словно хотел сбросить повязку. Руки плохо помнили работу, и Шитый путался, как новичок.

Когда корзина была готова, Василий погладил её, как гладят собаку, покрутил в руках, потом уложил в неё четыре гранаты и несколько толовых шашек...

Послышался шорох, и из-за ёлки вышла Матрёна. В руках у неё были самодельные берёзовые костыли.

— Наших не нашла? — Митька тревожно смотрел на мать.

— Не нашла: везде рыщут немцы.

— Плохи тогда дела... — Митька безнадежно махнул рукой.

— Надо верхом на коне... — сказал Шитый.

— А как же ты? Давай вместе!

— Ну какой из меня ездок! Я подожду. Найдёшь наших, а наши в беде не оставят.

— Мам! — сказал Митька, круто повернувшись к Матрёне. — Веди коня! Побыстрее.

Матрёна ушла и вскоре вернулась, ведя в поводу крепконогую кобылу. Митька уцепился за холку, подтянулся. Матрёна подала ему костыли, и он положил их перед собою.

— Потерпи, Василий. Скоро вернусь. Ребята где-нибудь рядом.

Гикнув, Митька улетел в лесной сумрак. Матрёна ушла. Мы с Василием остались одни. Где-то пищал рябчик, проплыла по озеру утка. От тишины звенело в ушах.

Василий лёг под ёлку, положил рядом с собой автомат. И тут я увидел фашистов: они цепью шли по просеке, тревожно смотрели по сторонам.

Невысокий офицер держал в руках пулемёт, по земле волочилась патронная лента. Куртки карателей были распахнуты, рукава закатаны, обтянутые сетками шлемы надвинуты на глаза.

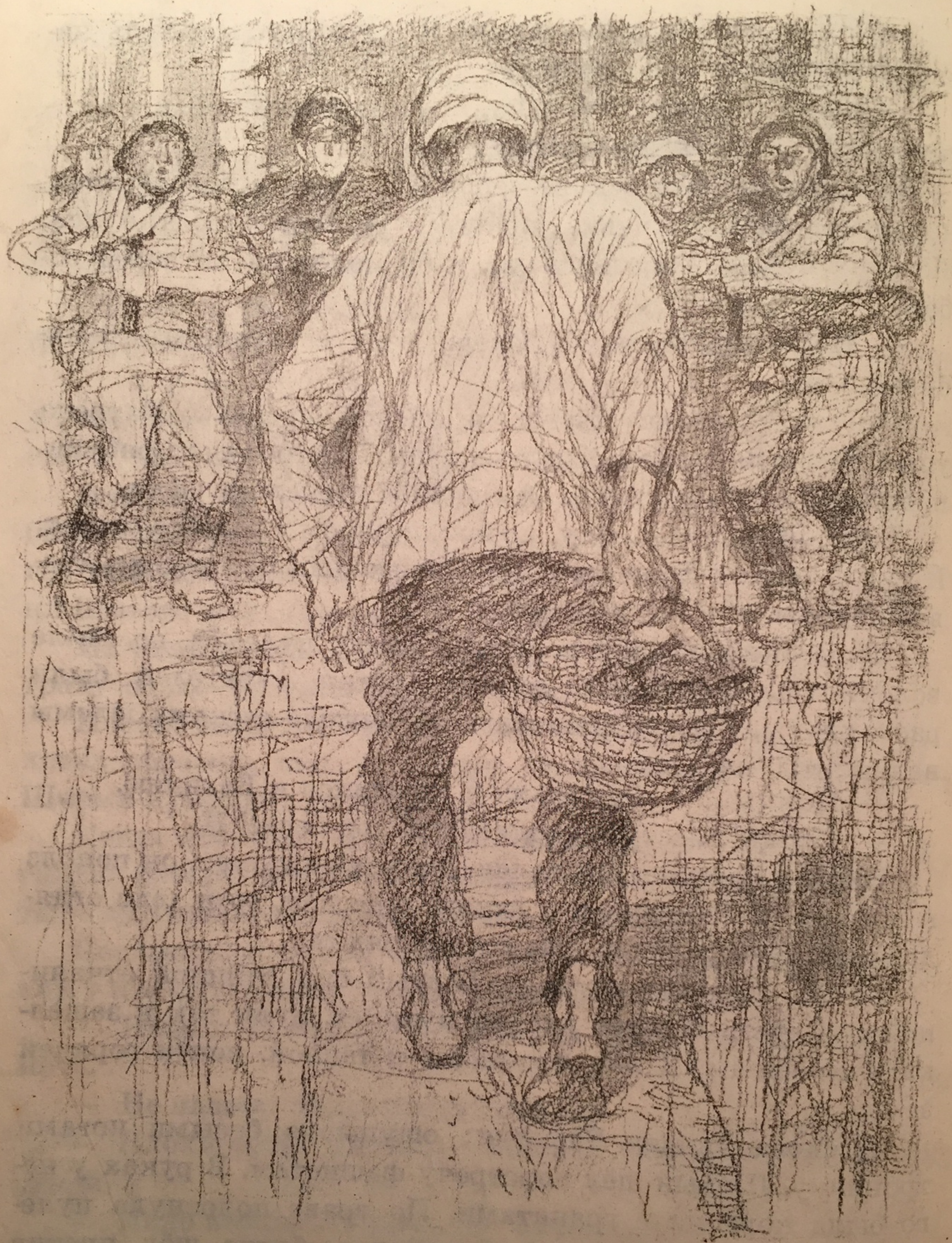
— Немцы... — От страха я прижался к Василию.

— Уходи! Быстрее уходи! Беги под берег! Ну?

Голос у Василия срывался. Вскинув автомат, он пополз к просеке. Я попятился к ёлкам, побежал, то и дело оглядываясь. Немцы были уже совсем рядом.

Глухо застучал автомат. Шитый бил длинной отчаянной очередью. В ответ ударил пулемёт, пули так и защёлкивали по ёлкам. Я лёг, прижался к тёплой, почти горячей земле.

И снова увидел Василия: ощупывая босыми ногами тропинку, Шитый шёл навстречу фашистам. В руках у него была корзина с гранатами. По траве полоснула пулемётная очередь. Василий пригнулся, будто шёл против



Шитый шёл навстречу фашистам, в руках у него была корзина с гранатами.

сильного ветра... Шаг... Ещё шаг... Размахнулся, швырнул тяжёлую корзину.

Меня оглушило, запахло угаром. Открыл глаза. Фашисты, крича, метались по просеке. В траве лежали убитые. Зияла огромная воронка. И возле самой воронки — Василий: лицом в траву, руки широко раскинуты.

Я скатился под берег, изо всех сил побежал к деревне...

Вечером пришли партизаны. Митька сидел верхом на лошади.

Под елью выкопали заступами глубокую яму, завернули Шитого в пёструю плащ-палатку, опустили вниз, засыпали жёлтым песком. На еловой коре ножом вырезали звезду.

ГОРЬКИЕ ЯГОДЫ



В конце осени поспела ежевика. По утрам мальчишки уходили в лес и возвращались с полными корзинками ягод. Мы с Серёгой не отставали от товарищей.

Ходили по лесу с опаской: фашисты несколько раз минировали просеки и лесные дороги; делали они это тайком.

Собирая ягоды, мы с Серёгой вышли на поляну. Вся поляна была изрыта окопами. В окопах россыпью желтели гильзы, валялись пробитые пулями каски, ящики из-под гранат, пустые пулемётные ленты и обрывки бинтов.

Серёга набил карманы гильзами, я поднял короткий стальной шомпол, выволок из куста оранжевую от ржавчины гранату, похожую на деревянную толкушку...

На заливном лугу паслось пёстрое стадо. Пастух дед Фёдор сипло покрикивал на коров. Будто паровоз, гудел бурый, круторогий бык.

От леса к озеру тянулось проволочное ограждение. За ним лежало минное поле.

Вдруг дед Фёдор пронзительно закричал. Бурая со звездой во лбу корова Пантелеевых, перешагнув колючую



проволоку, спокойно щипала траву на минном поле. Трава была там необыкновенно высокая и густая.

Я бросил корзину и подбежал к проволоке. Оглянувшись на Серёгу, крикнул изо всех сил:

— Ложись!

Не слушая, Серёга понёсся к деревне.

Я шагнул в разрыв проволоки. Трава выросла такая,



что не было видно земли. Пополз, раздвигая траву руками. Возле кочки торчали железные усики. Подался вправо, пополз ещё медленнее... Корова махнула хвостом, отошла в сторону.

— Дура, — выругался я.

Корова взбрыкнула, перемахнула через ограждение. Я прошёл сквозь прорыв, лёг и заплакал.

Послышались крики. От деревни уже бежали люди. Дед Фёдор торопливо связывал порванную колючку. Руки его тряслись. Коровы тревожно мычали, будто почуяли неладное.

Мать бежала самой первой. Белая её косынка билась на ветру. Последним, хромая, ковылял Серёга. Видно, он в кровь исколол ноги.

Я уткнулся лицом в траву... Рядом присела мать...

— Сумасшедший, там же мины!

— Я знаю. Только за корову было страшно... Такая дурёха.

— Успокойся... Ягод поешь... Видишь, сколько насобирали...

Я взял из корзины горсть ежевики. Ягоды почему-то горчили.

СНЕГ



Снегопад кончился на исходе ночи...

Чуть свет я выбежал на крыльцо. Стояла брусничная заря. Снег лежал густой шубой на земле, огромными шарами висел на еловых лапах. От зари пороша казалась тёплой и розовой, как поле цветущей смолянки. И нигде ни следа.

Надо было проверить поставленные на рябчиков силки. Я вытащил из-под крыльца самодельные лыжи — короткие, грубые, из клёпок от огуречной бочки, крепко натёртые пчелиным воском. Отыскал в хворосте две палки.

Идти было трудно: в дырявые валенки набивался снег. Через каждые десять — двадцать шагов я останавливался. Как цапля, поджимал то одну, то другую ногу, вытряхивал из-за голенищ белые хлопья.

Послышался стук копыт. По просеке катились облепленные снегом сани. Соловый конь шёл крупной рысью. В санях, весь в белом — белая шапка, белый маскировочный халат, белые валенки, — сидел незнакомый партизан. На коленях у него лежал автомат, на груди покачивался артиллерийский бинокль.



Увидев меня, партизан натянул вожжи. Сани занесло, и конь застыл будто вкопанный.

— Немцы в деревне? Ушли?

— Ушли... Были вчера вечером... Недолго...

Партизан посмотрел в бинокль, потом протянул его мне.

Я осторожно поднёс бинокль к глазам. Лес будто прыгнул навстречу: я увидел каждое пятнышко на берёзовой коре и каждое пёрышко в крыльях большого тетерева. Казалось, протяни руку — и дотронешься до косача.

Вздохнув, я вернул бинокль. Партизан присвистнул, сани покатались по просеке.

Трах-тах-тах-тах!.. — загрохотало где-то совсем близко.

С ёлок рухнул снег, над самой моей головой со свистом пронеслись пули, застучали по коре, брызнула жёлтая смола. С треском взлетели тетерева.

Взглянув на просеку, я увидел, что сани мчатся назад. Конь шёл на полный мах, тяжело стучали подковы.

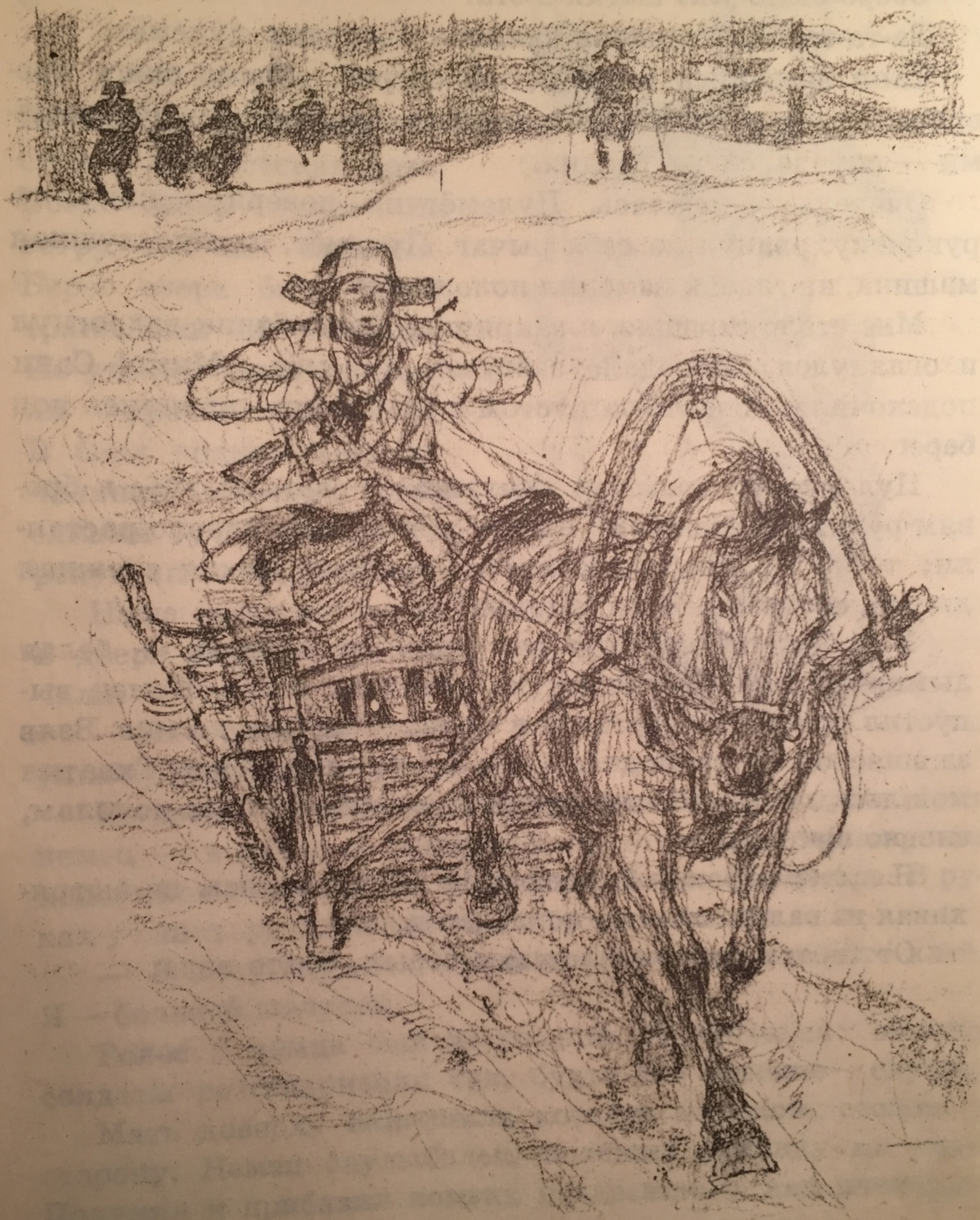
Выстрелы загрохотали ещё ближе. Как чёрные мины, пронеслись между ёлок тетерева.

Сани, подняв облако снега, летели теперь прямо по целине.

За санями бежали фашисты. Их было много. Они были в коротких шинелях, в суконных шлемах, в сапогах из войлока и кожи. Автоматчики, не целясь, били отрывистыми очередями. Двое рослых солдат, шатаясь от тяжести, тащили станковый пулемёт. Выбежав на опушку, солдаты рывком опустили, почти бросили его на снег. На солнце вспыхнула жёлтая патронная лента. Пулемётчик торопливо приник к прицелу, повёл длинным стволом...

Трах-тах-тах-тах!.. — покатилося по лесу эхо.

Пули легли рядом с санями. Конь круто повернул вправо.



Озеро было уже шагах в ста.

Озеро было уже шагах в ста.

Та-та-та-та!.. — снова залился очередью пулемёт.

Сани врезались в пушистый сугроб, облако снега превратилось в тучу. Пули ложились совсем рядом с санями — справа, слева, сзади...

Очередь оборвалась. Пулемётчик повернул какую-то рукоятку, рванул на себя рычаг. Пулемёт, как послушная машина, на глазах изменил положение.

Мне стало страшно, я закричал. Пулемётчик вздрогнул и оглянулся. Запоздало застучал пулемёт... Мимо! Сани подскочили, исчезли за кустом и мгновенно скатились под берег.

Пулемётчик привстал, жмурясь от света, поднёс к бровям рукавицу. Белые на белом, сани и конь словно растаяли; там, где изгибается берег, курилась лёгкая снежная дымка, скользили тени облаков.

В ярости пулемётчик дал длинную очередь — белая дымка сгустилась и затянула половину озера. Немец выпустил приклад, выругался и молча двинулся ко мне. Взяв за шиворот, он приподнял меня и посадил на снег. Схватил мои лыжи и огромными ручищами переломил их пополам, словно лучины.

Я вытер варежкой глаза и, не оборачиваясь, не вытряхивая из валенок снега, поплёлся к дому.

От страха снег казался мне серым, будто зола.

ТИХИЙ НЕМЕЦ



Несколько дней в деревне стояла фашистская рота. Возле озера гремели на ветру зелёные палатки. Берег озера был изрыт траншеями и окопами. По утрам солдаты уходили прочёсывать лес. В бору поднималась отчаянная пальба, над ёлками тучей вились перепуганные тетерева...

Наша семья вечеряла. В дверь негромко постучали.

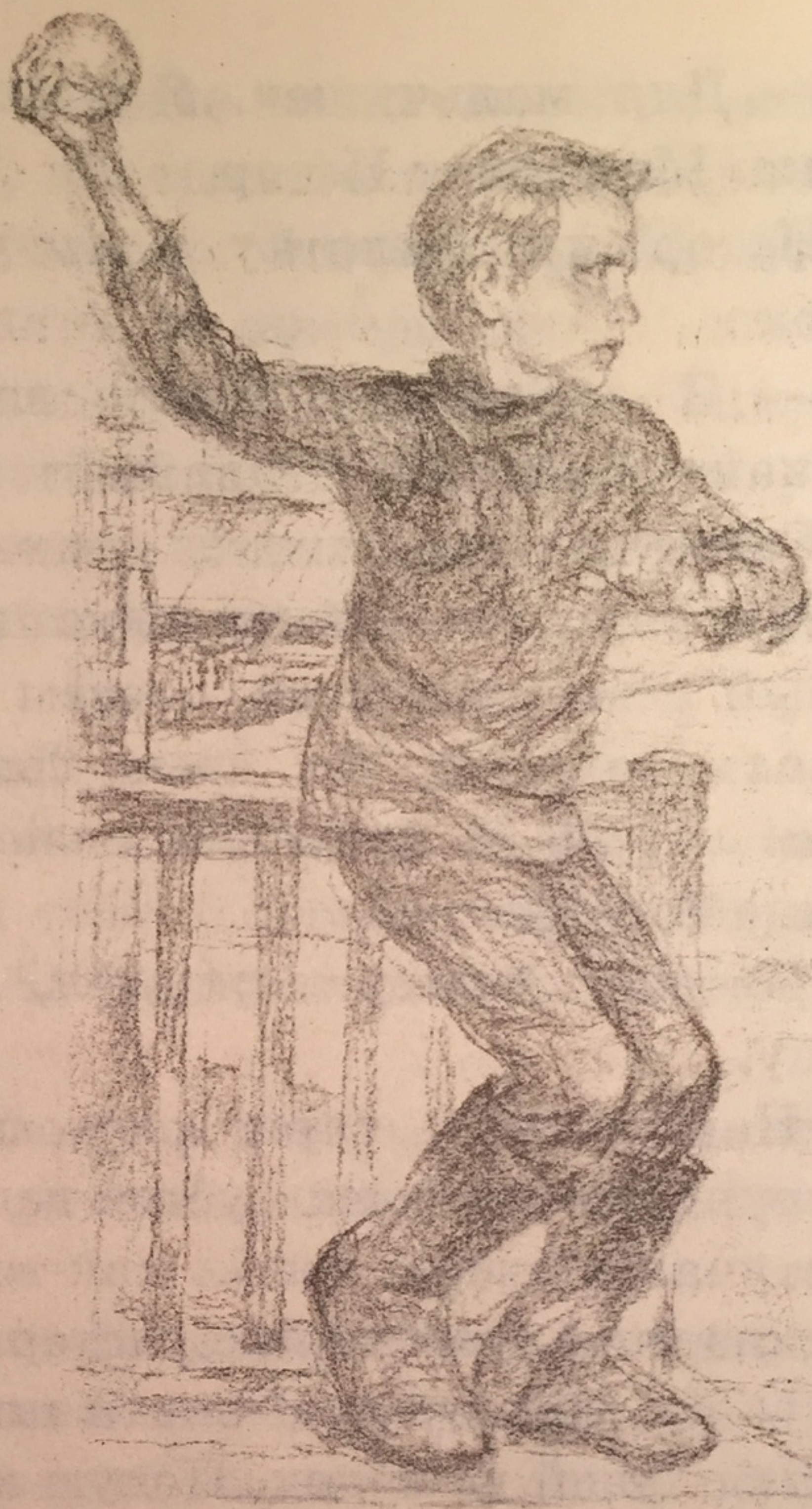
— Наверное, Дарья, — улыбнулась мать.

Но дверь открылась, и мы увидели, что на пороге стоит немец — в длинной шинели, с пистолетом и санитарным подсумком на поясе. На погонах нашивки ефрейтора. В руках у санитара были котелок и буханка хлеба.

— Я хочу меняйт... Ви давать млеко, получайте хлеб. Я — больной шелудок.

Голос у немца был негромкий. Я удивился: обычно солдаты разговаривали так, будто все русские — глухие.

Мать доверху наполнила котелок молоком, отошла в сторону. Немец заулыбался, положил буханку на стол. Подумал и прибавил ломтик ноздреватого, как пчелиные соты, сыра.



— Для мальчишек. Я имейт детишка. Драй! Три детишка. Мне зовут Петер.

Петер снял пилотку, и мы увидели, что он лысый, как яблоко.

— Я — учитель. Училь штудент... О, гросс Пушкин! Я знайт Пушкин! Я уважайт руссише, уважайт Пушкин.

Санитар начал читать стихи. Читал он на своём языке.

Мы слушали затаив дыхание. Это был какой-то незнакомый немецкий язык, совсем не тот, на котором разговаривали солдаты. Их язык был отрывистым и хриплым, язык стихов — плавным и чистым. Я вдруг увидел, что у немца голубые глаза...

Петер попрощался, ушёл, неумело держа плескучую ношу.

Наутро, чуть заря, звеня котелком, пришёл снова — наступил в сенях на пустое ведро, чуть не упал. Тихонько постучал в двери, вошёл как-то боком, встал возле порога, нескладный, усталый, с растерянными глазами.

— Здравствуйт. Я опять млеко. Ваше млеко отшень карош больной шелудок. Целую ночь не спайти. Биль облава на большой лес... Ловить партизанен.

— Поймали? — спросила мать, доставая с полки кринку молока.

— Какой поймал! Лес огромная, как город. Много че-
черев, зайца, волька... Майн офицер ранен голова.

Мать доверху налила котелок молоком, поставила котелок на подоконник. Потом расстелила на столе немецкую газету, достала с полки чайную чашку и плоскую стеклянную бутыл с самогоном, мутным, будто болотная вода.

— Может, пан санитар выпьет?

— Выпивайт? Большой удовольствием. Такой война только выпивайт!

Я видывал, как пьют немецкие солдаты: стол полон снеди, бутылка идёт по кругу, потягивают потихоньку глотками из глиняных чашечек величиной в желудь. Но Петер выпил залпом, по-русски, и даже не поморщился.

— Проклятый война. Я завидовал русские. Мы вас побеждай: Россия — мир, вы работайте. Пахай, коси, убирай урожай. Карашо! А дойчен плохо. Опять воевайте. Канада большие морозы... Птицы умирают им люфт, в воздух...

— А если не воевать, уйти?

— Найн, — покачал головою Петер. — Я боюсь эсэс. Они сажайт концлагерь мой семья. Надо воевайте. Отшень боюсь. Воевайте... Воевайте... Аллес воевайте... Я не говорит ваши слова герр официир...

Петер ушёл, напевая какую-то песню, оступаясь, шатаясь из стороны в сторону, расплёскивая молоко, тяжело стуча огромными сапогами.

На другой день потеплело. На окнах оттаяли ледяные наплывы. Глянуло солнце, и снег вспыхнул зелёными звёздами. Я вышел во двор. Вспомнились лыжи. Теперь лыж днём с огнём не найдёшь. На омшанике висит строгий приказ: население обязано сдать лыжи и лыжные палки. Кто сдал, кто сломал и сжёг в печке. На опушке лишь вороньи да заячьи следы. Особенно много вороньих...

Мимо проковылял Петер в тёплой куртке, в каскетке с опущенными ушами. Руки — в карманах, на поясе гремучий котелок. На тонких ногах у санитаря были огромные сапоги из кожи и войлока. Увидев меня, Петер весело потряхнул головой, что-то прокричал на ходу. Глаза ефрейтора так и сияли. Видно, он тоже радовался снегу...

Взвизгнула калитка. Покачиваясь, во двор вошёл незнакомый солдат — длиннорукий, горбоносый. Шинель распахнута, под шинелью суконные брюки, меховая жилет-

ка. Солдат остановился, долго мочился в сугроб. За спиной у солдата покачивался карабин: короткий, тяжёлый, на узком кожаном ремне. Из карманов торчали подсумки с патронами.

С крыльца сбежала мать, в руках — подойник, на плечах — внакидку полушубок.

Солдат вытаращил глаза, поправил ремень карабина и вдруг напрямик по снежному целику бросился к матери. Полы шинели распахнулись, будто парус. Матовая бляха моталась на цепочке из стороны в сторону. Подбежав, солдат вцепился в полушубок. Но мать не хотела его отдавать, вырвалась, метнулась к сараю.

— Хальт! Хальт! — заорал солдат.

Сорвав с плеча карабин, солдат рывком передёрнул затвор, торопливо прицелился. Мать в страхе выронила подойник.

Я застыл на месте. Никогда ещё мне не было так страшно...

Тишину разбил отчаянный крик. Кричали из нашего дома. В открытой форточке смутно белело лицо санитаря.

Пьяный солдат опустил ствол карабина, коротко выругался...

Набежал Петер. В руке у него прыгал воронёный вальтер. Схватил пьяного за воротник, поволок к дороге. Тот вырвался, крича, попятился к сараю.

Со всех сторон спешили солдаты. С автоматами в руках неслись патрульные. На крыльце белел пустой, забытый санитаром котелок...

Мы сидели, не зная, за что взяться. Идти на улицу было страшно. Я вздрагивал от каждого шороха, вслушивался в тишину. Мать была хмурой, думала о чём-то своём; присела к печке, открыла дверку, долго смотрела на огонь. Я вспомнил, как осенью в деревню зашли партизаны. В от-

ряде был долговязый пулемётчик в немецком мундире без погон и нашивок. Сначала я подумал, что просто партизан надел трофейную форму. Но пулемётчик заговорил, и стало ясно, что это немец. Было видно, что боец он проверенный и в отряде его ценят... Вот если бы и Петер перешёл в партизаны!

Котелок санитара стоял на столе. Мать сняла крышку, всклянь налила котелок молоком...

Петер пришёл поздно ночью. Негромко постучал в дверь, замер у порога. Санитар был в мешковатой шинели, в стальном шлеме, на поясе штык в чехле, за поясом граната-«толкушка» с длинной белой деревянной ручкой.

— Прощайт, млеко не надо. Меня посылать экспедиция — стреляйт партизанен. Война каждый час. Партизанен — плёхо, убивайт много шеловек, наш шеловек, взрывайт железный дорога... Прощайт!

Петер положил на стол буханку хлеба и банку мясных консервов, поклонился, исчез за дверью. Видно, торопился в казарму.

— Не такой он уж добрый, — сказала мать.

...Прошло несколько дней. Стуча сапогами, на наше крыльцо взбежал невысокий немец. Шумно вошёл в избу, поставил рядом с кочергой и ухватами тяжёлый автомат новой системы. Поверх шинели у вошедшего был напялен бабий полушубок, под шлем надета заячья шапка. С трудом я узнал Петера. Улыбаясь, он расстегнул пояс с пистолетом и подсумком, снял полушубок, шинель, шлем, треух... На суконном френче висел новенький Железный крест.

— Партизанен убивайт наш пулемётчик. Я немного штреляль, получаль награда...

Мать хмуро молчала, Серёга прижался к матери. Пе-

тер торопливо расстегнул карман френча, достал плотный серый конверт, из конверта — фотографию.

— Вот мой детишка... мой жена присылайт...

Мать молча взглянула на фотографию, вернула её санитару.

— Я очень устал... Можно млеко? — И Петер достал из кармана обшитую войлоком флягу.

— Молока нет, — сказала мать. — Корова болеет.

— Я могу летшить! — оживился Петер.

— Не надо... Она уже поправляется.

Мать говорила неправду: она только что подоила Чернуху и разлила по кринкам молоко.

Недоумевая, Петер принялся одеваться. Оделся, постоял у порога. Вернулся к столу, положил на стол ярко-оранжевый апельсин, завёрнутый в папиросную бумагу.

— Для маленький мальтшик...

От апельсина исходил удивительный запах. Перед войной отец привёз однажды такие апельсины из города. Отец говорил, что апельсины — из Испании.

Когда Петер ушёл, Серёга бросился к столу, развернул тоненькую бумагу. Но я опередил брата. С апельсином в руке вылетел на крыльцо и, размахнувшись, будто гранату, швырнул далеко в сугробы. Прочертив огненную дугу, апельсин нырнул в снег...

Ничего не понимая, на меня смотрел с дороги санитар.

БАЛАЛАЙКА



Балалайка была старинная, работы не очень умелого мастера. Мы с Серёгой нашли её в чулане среди всякого хлама, тёмную от пыли и без единой струны. Там же я отыскал тонкую стальную проволоку, сам натянул струны, и в моих руках оказался настоящий музыкальный инструмент.

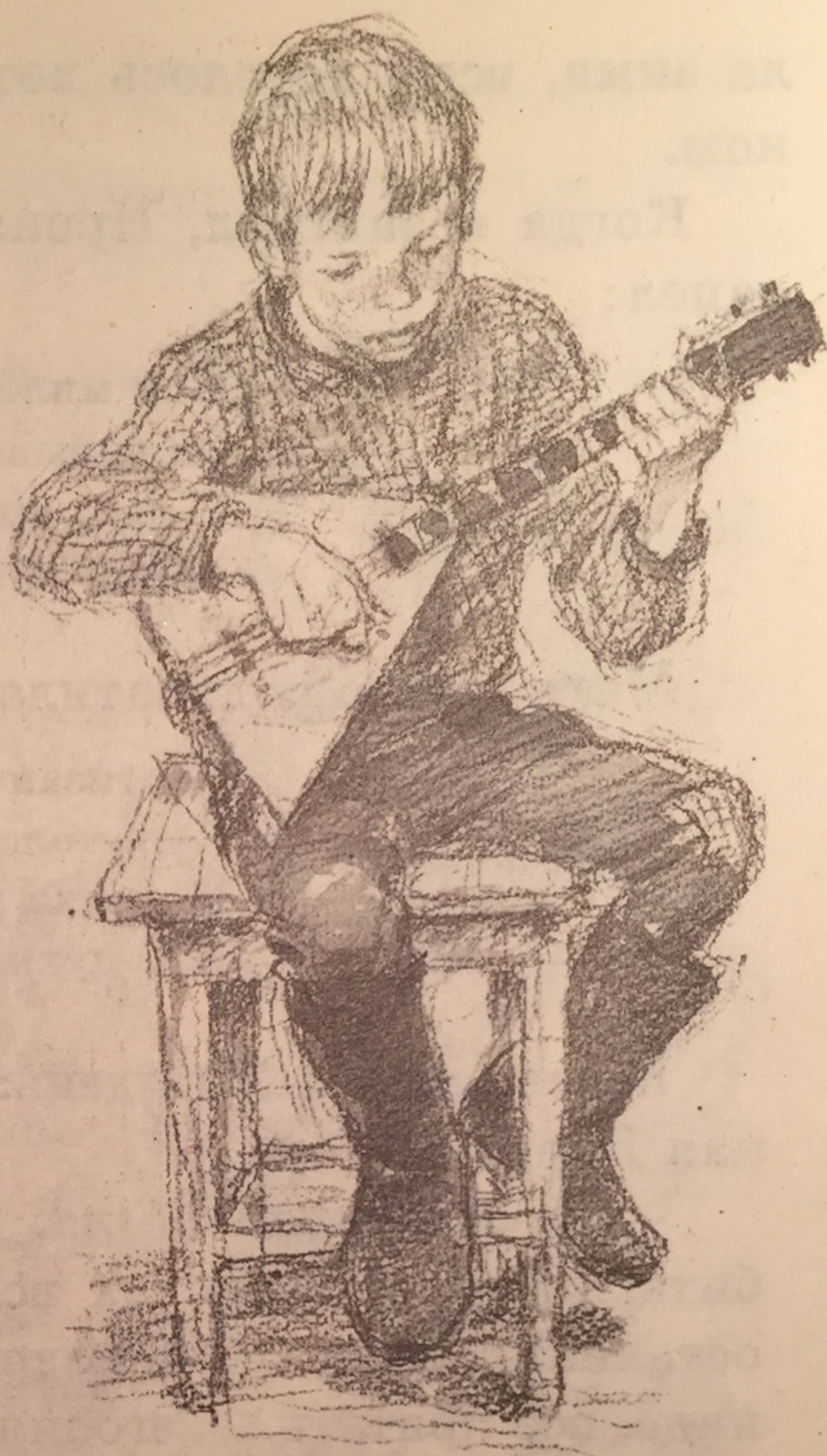
Сначала, правда, никакой музыки не получалось: балалайка то тарахтела, то пищала по-комариному, то начинала бречать, как жестяной чайник. Я промучился целый день, в кровь разбил пальцы, но всё-таки научился играть плясовую.

Серёга стащил с ног валенки, вылетел на середину горницы и пошёл вприсядку. Плясал, покуда не утомился. Тяжело вздохнув, сел на лавку...

Мимо нашего дома шли мальчишки, слышали плясовую — всей ватагой хлынули на крыльцо.

В гостях у нас перебивала за вечер вся деревня. Я совсем разбил пальцы, но боли не чувствовал. И даже спать лёг с балалайкой.

Наутро чуть свет пришли мальчишки. Шла война, стоя-



ла зима, всем хотелось хоть ненадолго позабыть о страшном.

Когда я заиграл, Проня Пантелеев отчаянно и весело запел:

Мой милёнок партизанит,
Он скрывается в лесах.
У него вместо подушки
Белый камень в головах.

Мать весело подхватила:

Партизан в кубанке белой
С пистолетом на боку...
Молочка ль тебе парного
Аль духмяного чайку?

Веселились целый день. И вдруг прибежала перепуганная Дарья:

— В Пашутине была. Сказывали, снова фашист грабить начал. В Бобылях всё сено забрали, ни сенинки не оставили... Берут всё подряд, что приглянется... Прятать надо, всё прятать... Сегодня-завтра нагрянут.

Слушая Дарью, я подумал о балалайке. А вдруг отберут? Быстро запеленал балалайку куском холста. Напрямик, по сугробам пробился к баньке, положил свёрток в пустой чугунный котёл, накрыл котёл тяжёлой крышкой.

Вернулся домой, принялся помогать матери. Уложили в сундук отцовский кожух, вышитое льняное полотенце, цыганскую шаль, стенные часы с кукушкой, самовар, резную липовую хлебницу, чайник с мёдом, мешок крупы, холщовую торбу с солью, дюжину коробков со спичками, патефон, окованную серебром пороховницу из бычьего рога, противогаз в зелёной сумке, Серёгину чёрную матроску...



Увидев сундук, фашисты захохотали.

И вдруг загрохотало. Мы с матерью бросились к окну. По просеке, взрывая сугробы, катились три белых бронетранспортёра. Над стальными бортами покачивались глубокие тёмные каски.

Проснулся Серёга и заревел от страха. Мы с матерью потащили сундук к подвальному люку. Не успели: грохоча сапогами, в дом вбежали фашисты.

Увидев сундук, они громко захохотали. Особенно заливался смехом долговязый фельдфебель.

— О, целый богатство! Ви хотите отдавай партизанам? Плёхо... Нужно помогайт наша армия тёплые вещи: шубка, валенки... А ну снимайт!

Мать сняла валенки, осталась в одних шерстяных носках.

— Это снимайт тоже... проклятый руссиш мороз... Отшень надо тёплые вещи.

— Искайт старая валенка! — загоготал фельдфебель. — Без валенка про-студа, умирайт!

В несколько минут фашисты перевернули весь дом. Нашли в сарае мешки с мукой, выволокли из подвала бочонок с солёными груздями, отыскали плетёнку крупного лука. Фельдфебель натянул поверх шинели кожух, связку лука положил в ранец с бурой телячьей крышкой. Всё — и сундук, и мешки с мукой, и грибы, и сушёную рыбу — быстро перетасили в транспортёры...

Фашисты сновали по всем домам, тащили к неуклюжим машинам всё, что можно унести.

Из окна было видно, как фашисты довольно переглядываются.

Вдруг один что-то увидел на снегу — это были мои следы, засуетился, подозвал приятеля. По следам добрались до бани. Пригибаясь, вошли в оплетённые ивой банные сени...

Потом они долго стояли на снегу, недоуменно и с опаской рассматривая балалайку.

Подошёл фельдфебель. Взяв балалайку у солдат, он громко захохотал.

Шли они к транспортёрам, будто парни на посиделку: не торопясь, важно вышагивая. Балалайка захлёбывалась в огромных ручищах фельдфебеля. Но мне её было уже не жалко...

Фашисты уехали. Опустошённая деревня казалась вымершей. По улице спокойно пробежал заяц-беляк.

ХЛЕБ



Мать пекла хлеба. Ржаная мука была на исходе, и мама подсыпала в тесто две горсти опилок. Когда дрова догорели, она выгребла угли, на дубовой лопате посадила хлеба в печной жар, задвинула устье заслонкой.

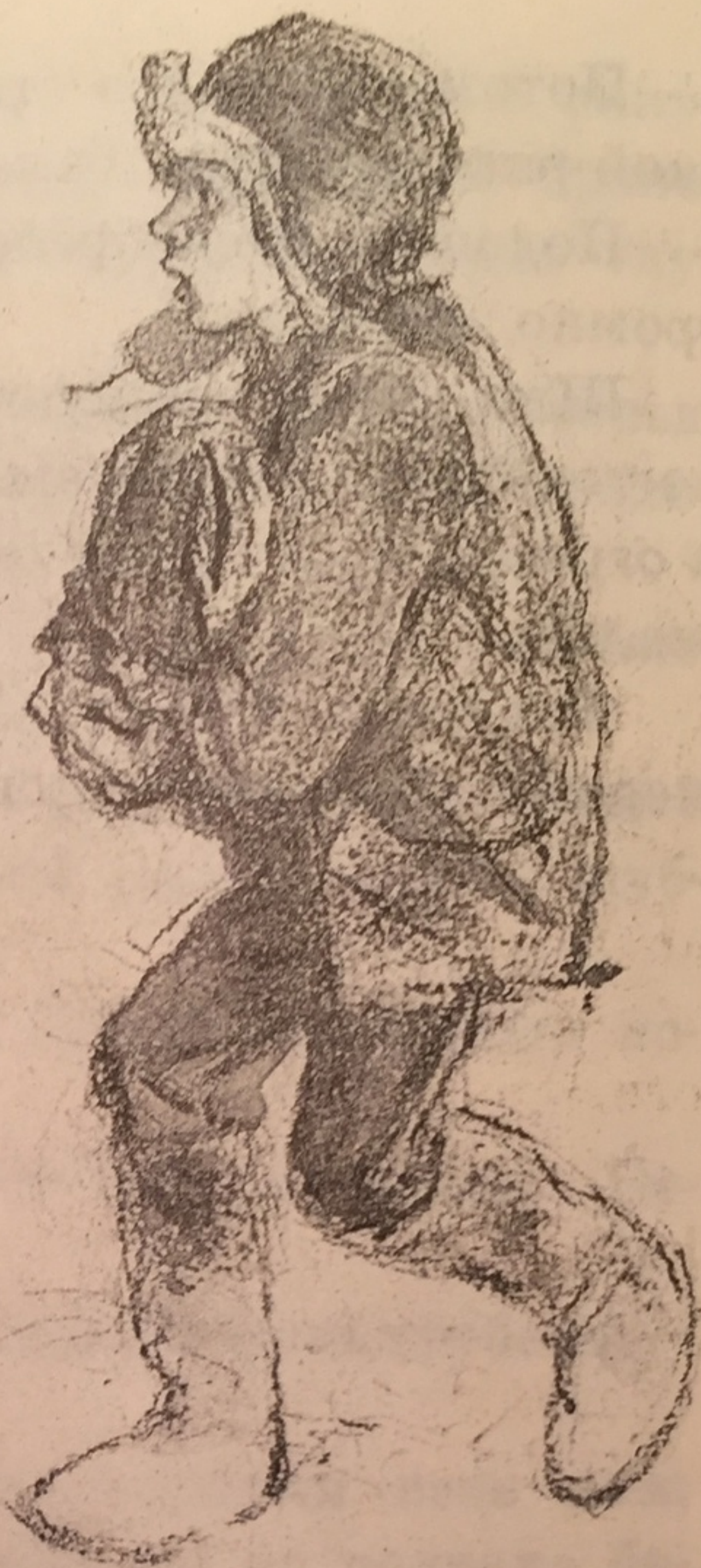
Через час хлеба были готовы. Спрыснув корку водой, мать усадила нас с Серёгой за стол, отрезала по большому тёплому ломтю. Брат отломил от ломтя корку, попробовал, поморщился.

— Деревянный какой-то... Пахнет ёлкой!

И всё-таки доел краюху и собрал со стола даже мелкие крохи. Я приготовил тюрю: накрошил хлеба в подсоленную и чуть сдобренную льняным маслом воду, бросил в воду луковицу.

Ненароком я взглянул в окно... К деревне по проселку двигалась тёмная колонна: фашисты вели пленных партизан. Конвоиры были в русских полушубках и валенках. Пленные шли в рваной летней одежде. Многие из них были даже без шапок.

Мать схватила со стола непочатый каравай, не одеваясь, сбежала с крыльца. Мы с Серёгой бросились следом.



К дороге со всех сторон бежали люди. Дед Иван тащил решето, полное печёной картошки. Матрёна Огурцова прижимала к груди дымящийся чугунок каши. Из чугунка торчал черенок расписной деревянной ложки.

Пленные были уже близко.

Впереди шёл сутулый мужчина в прожжённой шинели. Ноги его были обмотаны мешковиной. Следом, поддерживая хромающего старика, ковылял парень в опорках на босу ногу...

Мелькнуло знакомое лицо: в середине колонны, кутаясь в обрывки одеяла, шагал худой старик. Это был пекарь из нашей деревни. Прежде он был толстый, со щеками как яблоки. Старик шёл, опустив голову, и смотрел под ноги.

Матрёна первая очутилась возле колонны. Конвоир закричал, выхватил горшок, бросил в сугроб. Другой конвоир налетел на деда Ивана. Картофелины покатились по дороге, и к ним бросились пленные.

Немец, ругаясь, принялся давить картофелины сапогами, но пленные вырывали их из-под сапог, глотали пополам со снегом.

Проня Пантелеев и Витька Павлушин, осмелев, подбежали к самой колонне. Конвоиры хлестанули над головами из автоматов. Мальчишки попятились, отступили к кочотыну.

Я вырвал у матери каравай, бросился к лесу. В лесу к самой дороге подступают деревья, хлеб можно передать так, что конвоиры и не заметят.

Бежать было нелегко: я тонул в сугробах, падал в какие-то ямы. Но вот выбрался, спрятался за куст... Колонна приближалась.

Вдруг я увидел конвоира. Он крикнул, прицелился из автомата.

Вспыхнул огонь, в грудь сильно ударило, я упал...

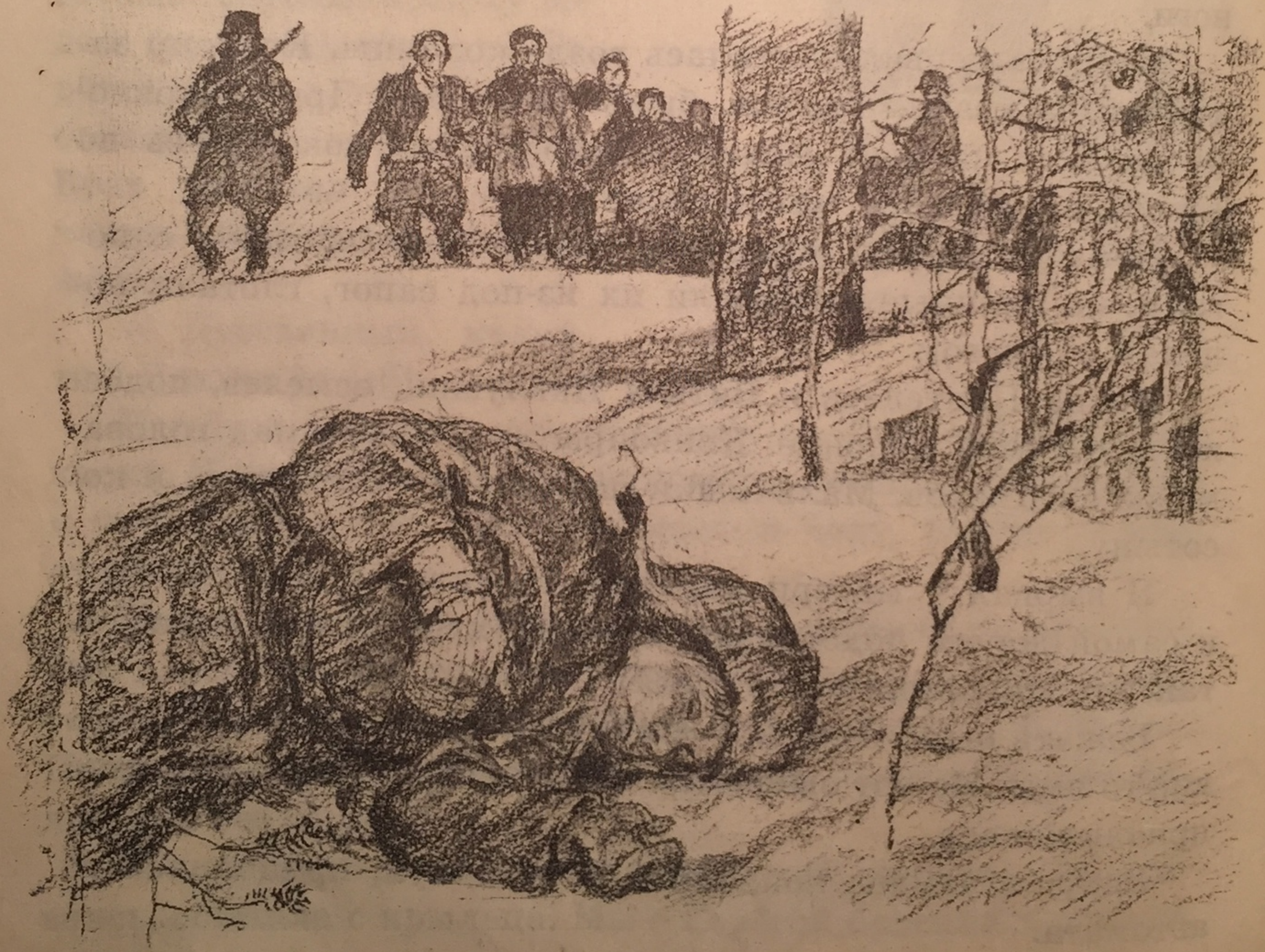
Открыв глаза, я увидел белое. Это был снег. Рядом лежала буханка. Потрогал грудь... Ничего. Поднял хлеб, пополз к опушке. В ушах громко звенело...

Мать, держа на руках братишку, стояла около крыльца.

Я снял варежки, смахнул с буханки снег. В корке темно круглое отверстие...

— Что это? — спросил Серёга.

Я надломил корку и достал жёлтую пулю. Пуля была тяжёлая и тупоносая, как жёлудь.



ЦЫГАНЁНОК



С тех пор как пришли фашисты, в округе ни разу не появлялись цыгане. Прежде, до войны, без них не обходилось ни одной ярмарки, ни одного праздника. В нашем колхозе была бригада, состоявшая из одних цыган. Зимой они жили в домах, а летом разбивали на берегу озера белые полотняные палатки, ставили высокие качели, сбивали под навесом ёлок узенькие скамейки. По вечерам возле палаток горели костры, на ольховых шестах сушились сети, негромко пели девушки.

Отец дружил с цыганами и часто приводил меня в табор. Цыгане были непонятными, таинственными, при встрече с ними сердце у меня замирало от страха. Старый цыган в кумачной рубахе подолгу играл на скрипке; музыка была жалобной, тихой, как осенние клики журавлей...

И вот цыгане пропали. Однажды я спросил у матери: что случилось? Мать нахмурилась и сказала:

— Цыган ненавидят фашисты, ловят, расстреливают. Цыгане по лесам прячутся, по глухим деревням, а самые молодые в партизаны уходят.



В поле, в лесу не слышно было ни собачьего лая, ни заливистых бубенцов быстрых цыганских повозок... Стояла глухая тишина.

И вдруг я снова увидел цыган. Я шёл берегом озера и замер от неожиданности: внизу по тоненькой тропинке молча пробирались люди, закутанные в старые полушубки, в косматые платки, в рваное и грязное тряпье. Тёмные лица, чёрные волосы... У невысокого старичка с потухшей трубкой забинтована полотенцем правая рука. Хромой мужчина несёт на руках младенца, запелёнатого в овчину... Шестеро цыган волокли самодельные еловые салазки. На салазках, между двух перин, крепко связанных верёвками, лежали цыганята. Видны были только головы, замотанные лохмотьями. Мальчуган лет шести грыз чёрный сухарь.

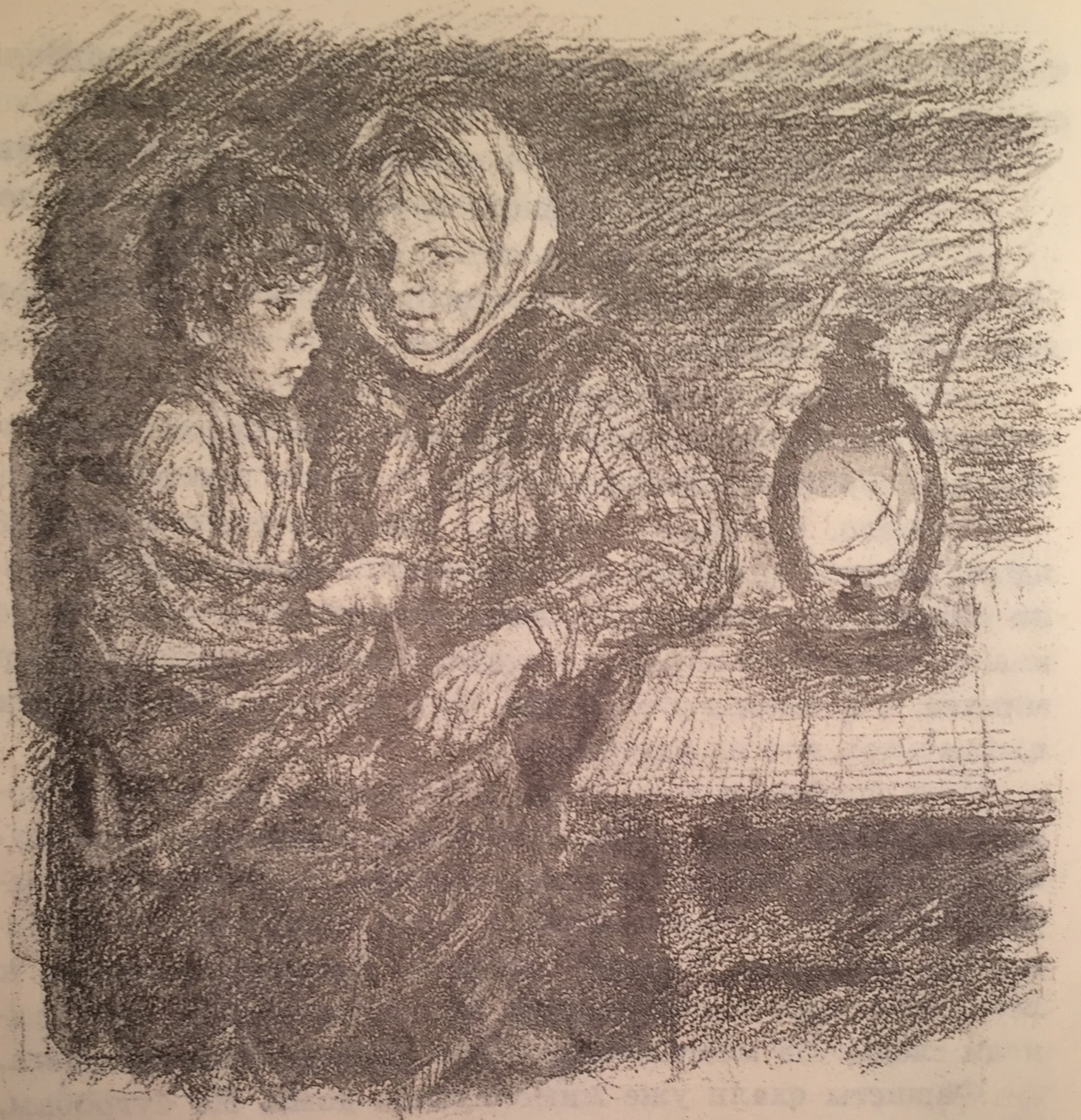
Цыгане скрылись в лесу, и я помчался домой, чтобы обо всём рассказать матери.

— Знаю... Помолчи... — Мать не дала мне сказать ни слова больше.

В доме поселилась тревога. Мать подоила корову. Поужинав, сразу же легли спать. На печке было знойно, и Серёга уснул, как только прикоснулся щекой к подушке.

Я задремал на самом краешке сна. Чудилось что-то тёмное, косматое, большое. Сквозь дрему донёсся негромкий треск... Стреляют? Нет, наверное, что-то другое. Пропела дверь — мать вышла в сени. Наверное, опять пойдёт в хлев к больной Чернухе. Корова едва на ногах стоит. Сена ни былинки, всё отобрали немцы. Мать приносит откуда-то гнилую солому, парит в горшке осиновую кору...

Очнулся я от яркого света. На столе стоял горящий фонарь. Мать держала на руках незнакомого мальчишку. Он был в облепленной снегом коротенькой рубашонке, в



рванных галошах, в тёмном бабьем платке. Мать развязала платок, и я увидел, что это цыганёнок лет шести-семи, тоненький, черноглазый, с волосами, как тетеревиное крыло.

— Как тебя звать-то? — тихо спросила мать.

— Максим, — шёпотом ответил цыганёнок.

Мать разула его, уложила на печь рядом с Серёгой. Цыганёнок сжался, свернулся калачиком. Мать погасила фонарь, присела на лавку возле окна. Вдруг Максим вско-

чил, пронзительно закричал. Проснулся Серёга, заревел ещё громче.

— Что? Что случилось? — с тревогой спросила мать.

— Фашисты... — Цыганёнок дрожал, как тростинка.

— Что ты, Максим, их здесь нет. Успокойся.

— Приснилось... Пришли, стали стрелять. Я еле убежал... Такие сугробы...

— Спи, фашисты больше не придут.

Цыганёнок лёг, прижался к Серёге. Братишка подумал-подумал и обнял Максима за шею. Так они и уснули.

Рассвело. Выглянуло солнце. Мать подошла к окну и вдруг вскрикнула. Я бросился к ней. К деревне подъезжали фашисты; скрипя, двигался длинный обоз. От леса до нашего дома тянулся след, оставленный цыганёнком. Ещё минута, и фашисты его увидят. Они ловят и убивают всех цыган и тех, кто их укрывает.

Мать бросилась к выходу — хлопнула дверь, загрохотали ступени крыльца. Мать бежала к коровнику. Добежала, вытащила засов, крикнула. Корова неохотно перебралась через порог, заковыляла к дому. Мать бросилась наперерез, стукнула Чернуху засовом. Корова повернула к лесу, понеслась сломя голову. Она бежала там, где темнели следы. На месте следов легла полоса взрытого снега.

Фашисты ехали уже мимо нашего дома. По сугробам, будто лодки-плоскодонки, плыли неуклюжие розвальни. На связках овечьих шкур, на мешках муки сидели солдаты с автоматами наперевес. В широкой кошеве дымил сигаретою офицер — в каске, в очках, в меховой шинели. Стёкла очков поблёскивали словно льдинки. Увидев мать и скачущую по сугробам корову, офицер громко захохотал, сигарета запрыгала в белых зубах. Махая руками, засмеялись солдаты.

Фашисты скрылись в лесу. Мать оделась, куда-то ушла.

Не прошло и часа, как из лесу вылетели оплетённые ивовыми прутьями сани. В санях сидели партизаны, стоял выкрашенный в белую краску станковый пулемёт «максим». Вместе с партизанами была наша мать.

Сани остановились у крыльца, партизаны и мать вошли в дом. Старший партизан снял с себя полушубок, остался в лёгоньком ватнике. В полушубок закутали цыганёнка. Отнесли в сани, усадили рядом с пулемётом.

Мы с Серёгой не выдержали, полуодетые выскочили на крыльцо. Сани легко стронулись с места, понеслись по накатанной дороге.

— До свидания, Максим! — закричали мы с Серёгой.

Потом мы узнали: партизаны на самолёте переправили цыганёнка в тыл.

ГРИША-МОРОЖЕНЩИК



В большие морозы я заболел. Мать дважды на день топила печь, укутывала меня ватным одеялом. Бил озноб, чувства обострились до предела. Засветят коптилку — тоненький огонёк покажется мне костром.

Пришёл, стуча валенками, братишка — скрип половиц оглушил, будто раскаты грома. Снилось лето. Вместе с мальчишками я бежал по берегу озера. Озеро слепило, сыпало синими звёздами.

Долго лежал в забытии. Очнулся от грохота.

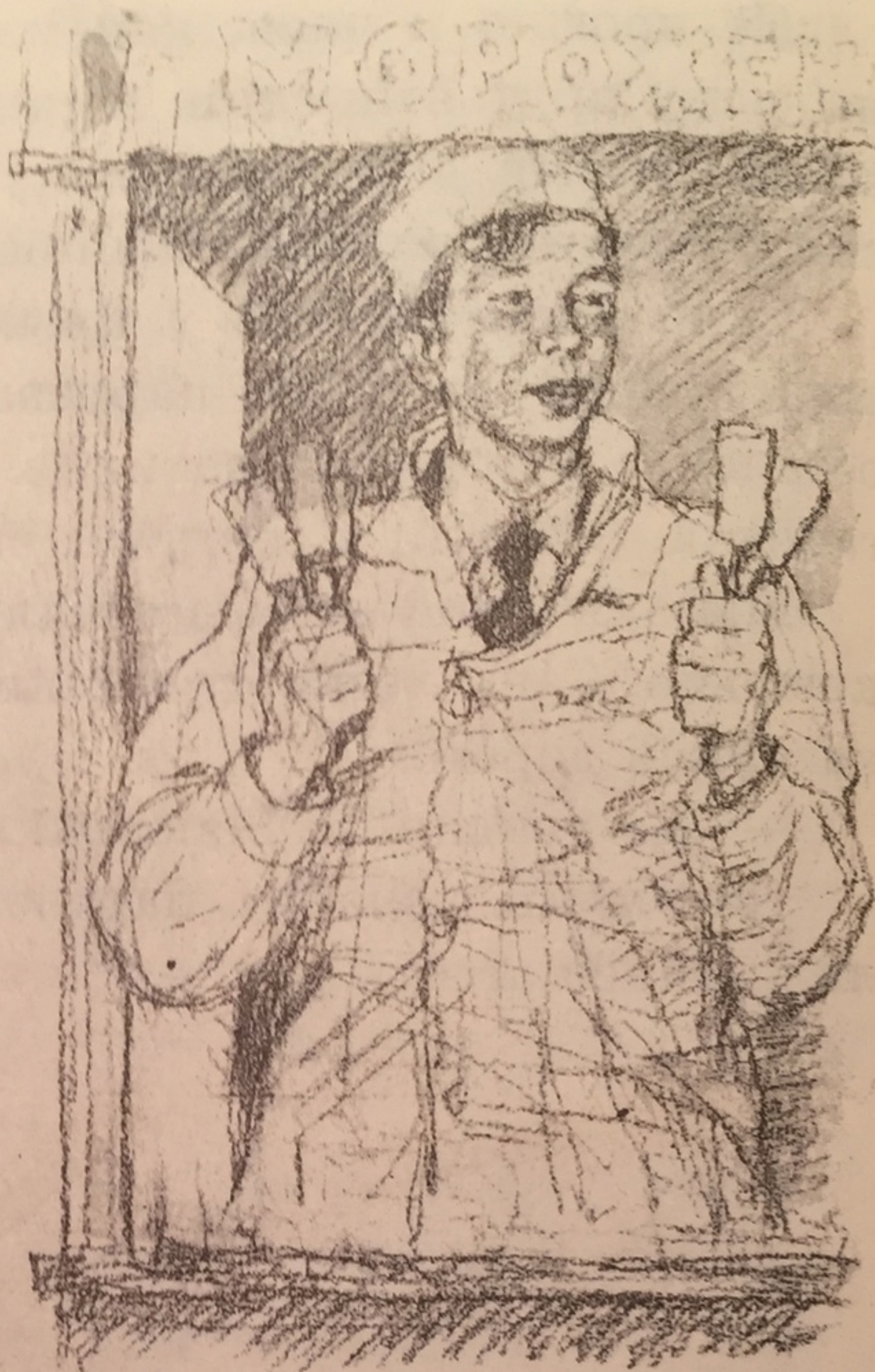
По комнате ходили партизаны.

В печном углу, рядом с ухватами, стояли винтовки и автоматы.

Лицо одного из партизан показалось мне знакомым... Улыбается, щурит глаза. Да это же Гриша-мороженщик из города! Щурится — и тогда щурился. В белом халате — и тогда был в белом халате.

Может быть, это даже тот самый халат? У других халаты из парашютного шёлка, а у него простой, миткалевый.

Гришу я видел на летней ярмарке. Около городской бани стояла фанерная палатка, в которой и торговал мо-



роженщик. Мороженое лежало в серебристых бидонах, а бидоны были поставлены в бочку и обложены колотым льдом...

Мать готовила самовар. За столом устроились Гриша-мороженщик и Серёга.

На стол легла взрывчатка: шашки тола, багряные пакеты аммонала, динамитные патроны. Рядом Гриша положил несколько разряженных гранат.

Гриша укладывал взрывчатку в большой зелёный ящик с брезентовым ремнём.

Взяв пакет аммонала, мороженщик показал его Серёге:

— Фруктовое, красное, высший сорт!

Динамитный патрон Гриша долго вертел в руках...

— Ореховое, в стаканчике. Почти даром!

Потом взялся за головастую, с длинной еловой ручкой немецкую гранату:

— Ого, эскимо на палочке!

Опять нахлынуло забытьё. Сквозь сон почувствовал прикосновение тяжёлых рук. Это был Гриша. Он поправлял придавившее меня одеяло. Партизаны уже собрались уходить.

Гриша держал в левой руке ящик с брезентовым ремнём. И вдруг, как наяву, увидел я мороженое: среди отливающих радугой осколков льда кружились белые, розовые и жёлтые шары, ярко полыхал завёрнутый в серебристую бумагу пломбир.

— Гриша, — сказал я так тихо, что сам не услышал своего голоса, — принеси мороженое... Ладно?

— Принесу, обязательно принесу... — ещё тише ответил мороженщик.

Потом я проснулся среди ночи. В окно глядела жёлтая корявая луна. По саду очумело носились зайцы. В лесу



*На одеяло легла пригоршня рубиновой, прихваченной морозом
калины.*

ухнуло... Видно, филин. Послышался едва уловимый гул...
Машина. Снова стало тихо.

Луна скрылась за облако, и комнату затопила темнота.
На мгновение в комнате посветлело, тоненько зазвенели стёкла.

Проснулась мать, бросилась к окну. Но нигде не стреляли, даже филин молчал.

И опять я почувствовал, что падаю куда-то в чёрную пустоту.

— Друг! Вставай! Гости пришли! — услышал вдруг я.

Рядом с печкой стоял Гриша-мороженщик. У него были забинтованы левая рука и шея. Халат почернел и покрылся серыми пятнами.

— А я тебе подарок принёс... Смотри!

Гриша открыл свой зелёный ящик. Взрывчатки в нём уже не было.

На одеяло легла пригоршня рубиновой, прихваченной морозом калины.

Я положил несколько ягод в рот. Они были твёрдыми, ледяными, но быстро оттаяли. Калина чуть-чуть горчила и всё-таки была сладкой.

Подошёл Серёга, взял самую большую гроздь. Попробовал.

— У-у, мороженая!

— Мороженое, — поправила мать.

Мне стало легче.

Я слез с печки, присел у окна. За окном сиял удивительный, облитый солнцем мир. На ольховой ветке сидела сиреневая ворона.

ТИГРОВАЯ КОШКА



Я проснулся чуть свет и помогал матери чистить картошку. Серёга спал на печи. Рядом с ним, в решете, счастливо урчала кошка — большая, пушистая, с ярким тигровым окрасом и глазами, как неспелый крыжовник. В том же решете дремали и котята — их было четверо, — такие же полосатые, только глаза не как крыжовник, а как голубика. У Серёги не было игрушек, и поэтому он не расставался с кошкиной семьёй: тискал котят и гладил кошку. Когда кошку гладили, из-под ладони так и сыпались зелёные искры.



Вдруг в сенях громко затопали. Мать вздрогнула, уронила картофелину. Не стуча, вбежала Матрёна Огурцова — сама не своя, чёрный платок в снегу. Еле перевела дух.

— Кожино горит... Фашисты... Дома палят, а людей угоняют. В неметчину... Мальчонка кожинский бежал... К партизанам...

Не одеваясь, опередив мать и Матрёну, я вылетел на крыльцо. От мороза захватило дух. В лицо, будто еловой лапой, ударило ледяным ветром... За лесом вполнеба стояло зарево. Чёрный дым, клубясь, стекал к озеру. И ни звука —

звенящая морозная тишина. Будто в тяжёлом сне.

— Что ж теперь будет-то? — Матрёна с ужасом глядела на зарево. — Весь край выжгут... Ух, ироды!

— Едут! — вскрикнула мать.

По просеке катился огромный белый, будто сугроб, немецкий грузовик. Колёса его были оплетены блестящими цепями. Звенели цепи, оглушительно ревел мотор. Посреди деревни машина резко затормозила и, подняв облако снежной пыли, застыла на месте. Кузов грузовика был набит фашистами. Открыли задний борт, и фашисты посыпались в снег.

Двое подбежали к нашему крыльцу.

— Быстро одевайтесь! Выходить на дорога!

Фашисты разошлись по деревне, крича, размахивая оружием. Серёга спросонья заревел и никак не хотел одеваться, а когда мать, уже одетого, подхватила его на руки, вцепился в кошку и что есть силы прижал её к груди.

У меня никак не попадали руки в рукава. Ноги наспех закутал какими-то лохмотьями, сунул в валенки. Сорвал с гвоздя отцовский заячий треух, утонул в нём до самых глаз. Моей шапки нигде не было видно.

— Выходить! Живо! — В дверь опять ударили прикладом.

За дорогой в глубоком сугробе стояли люди, вязли в снегу, мёрзли на ледяном ветру. Здесь были все жители нашей деревни. Старухи плакали. Дед Иван Фигурёнок, совсем уже ветхий старик, ругался хриплым простуженным голосом. Проня Пантелеев держал за руку маленькую сестрёнку.

Мы встали с краю, мать отпустила Серёгу, и тот спрятался от страха за мою спину. В мои валенки набился снег, и ноги занемели. Ветер задувал под отцовскую шапку.



Здесь были все жители нашей деревни.

Над Кожиним всё выше поднималось зарево, и всё озеро затянуло дымом.

— Антихристы! — закричал дед Иван.

— Мольшать! — огрызнулся высоченный ефрейтор. — Стоять смирно! Кто делает маленький шаг — мгновенно стреляйт! Поняль?

И ефрейтор, будто истукан, застыл на дороге с лёгким ручным пулемётом в руках. Рядом переминался с ноги на ногу молоденький офицер — шинель с меховым воротником, высокая фуражка, на поясе пистолет, русские варежки и большущие валенки. Офицер смотрел мимо людей, будто их и не было. Глаза у него были зелёные, как трава, и весь он был каким-то неправдоподобным, словно приснился.

Фашисты начали выводить скот. Коров и телят привязывали к ёлкам, кур бросали в огромный мешок с чёрным орлом. Поросят и овец не было ни у кого: ещё в начале зимы отобрали полицаи. На всю деревню была только одна коза. Её привязали рядом с коровами, но коза легко перекусила верёвку и, подпрыгивая, понеслась к лесу.

Фашист дал очередь из автомата, но промахнулся — коза взбрыкнула и исчезла в чаще.

Покончив с коровами, фашисты вилами разворотили омут соломы, обложили соломой каждую постройку. К нашему дому подбежал шофёр с канистрой в руках, облил ворох соломы чем-то голубоватым. Другой фашист встал на колени, звонко щёлкнул зажигалкой. Солома вспыхнула, повалил бурый дым. Заметалось, запрыгало пламя...

Тишину прорезал отчаянный крик: тигровая кошка колесом выкатилась из толпы, пронеслась по горбтому сугробу, прыгнула прямо в огонь...



Прошла минута, и с крыльца рухнуло в снег что-то косматое. Это была кошка. В зубах она держала полосатого котёнка.

Не помня себя, к горящему крыльцу бросился Серёга. Я побежал за ним, догнал, схватил за рукав.

— Хальт! Хальт!

Ефрейтор целился в нас с Серёгой.

И тогда сорвались с места мать и Матрёна, вцепились в шинель фашиста, в чёрный ствол пулемёта.

— Русише звиньи! Стрелять весь деревня!

Офицер зубами сорвал варежку с правой руки, рывком расстегнул кобуру. И вдруг рука офицера замерла. По просеке бежали партизаны — человек сорок. Бежали изо всех сил. Боясь опоздать, швыряли в снег полушубки.



Фашисты бросились к машине. Шофёр выронил канистру, запрыгал по сугробам. Фашисты лезли в кузов. Офицер вслед за шофёром протискался в кабину, мотор взревел, и, гремя цепями, огромный грузовик в облаке дыма сорвался с места. Поворот, ещё поворот, и машина вылетела на просёлок...

Пламя сбили снегом и еловыми лапами. Дом стоял тёмный, дымящийся, будто стог гнилого прошлогоднего сена.

Вместе с партизанами прибежала из лесу взъерошенная коза.

Братишка долго сидел на обгорелом крыльце. На коленях у него урчала кошка, ласково облизывая своих перепуганных котят. И ничего уже вокруг себя Серёга не замечал.

ВАЛЕНКИ



Партизаны переночевали в деревне, утром ушли, а на смену им приехал партизанский дозор.

Возле нашего крыльца остановились широкие сани. В них сидели парни в белых халатах. Одного я сразу же узнал: до войны он работал у нас лесником. Звали его Фёдором, а прозвище у него было Пымаш. Так он выговаривал слово «понимаешь» и приплетал его куда надо и не надо.

— Пымаш, а мы на постой... — Фёдор, щурясь, смотрел на мать. — Охранять послали. Приказ, пымаш...

— Проходите, гости дорогие! Проходите!

Мать так и сияла радостью. Ещё бы: пока в деревне партизаны, фашисты не покажут и носа. Вон и пулемёт в снях. И патронов огромный ящик.

Коня, не выпрягая, отвели под навес, укрыли старой шинелью, задали овса. Пулемёт внесли в горницу, а карабины и автоматы поставили в печной угол рядом с кочергой и ухватом.

Только самый молодой партизан оставил автомат при себе: партизана поставили часовым. Возле крыльца шумела высоченная ель; часовой вскарабкался на самый верх, устроился на крепком суку, затаился... На макушку ёлки



села ворона, ничего не заметила, принялась чистить нос.

Поставив пулемёт возле порога, Фёдор пристально посмотрел на меня и Серёгу.

— А ну-ка сюда, босая команда! Что же это вы, пымаш, с валенками понаделали?

— Сносились... — вздохнул Серёга.

— Починить можно. Дело, пымаш, нехитрое.

— Не починишь! Одни дырки остались!

— Дратвы не найдётся? — спросил Фёдор, взглянув на мать.

— Есть, есть... И дратва, и вар, и шило хорошее. Всё есть.

Мать засуетилась, быстро нашла всё, что нужно. Фёдор молча разулся, взял нож, откромсал полголенища от одного своего валенка, полголенища от другого. Щурясь, осмотрел валенки-коротышки.

— Пымаш, по последней моде... А?

Работая, Пымаш неторопливо рассказывал матери о том, как он попал в партизанский отряд.

— Пымаш, пулемёт у меня был, вот этот самый. В лесу нашёл, пымаш... К пулемёту — коробок с патронами. А где партизаны, пымаш, не знаю, в деревне немцы стоят. Надо ехать, искать. Да как поедешь, когда вокруг одни фашисты. Обыскивают каждого... Взял я тогда бревно, всю сердцевину, пымаш, выдолбил, одну заболонь оставил. Положил пулемёт в бревно, вход и выход плашками забил. Уложил бревно в сани, пымаш, ещё бревна четыре добавил, коня запряг, еду... На мосту часовой останавливает. Всё сено, пымаш, перетряс. Еду дальше... Долго ехал, раз пять обыскивали. Вдруг слышу — стреляют. Вижу, за елками полицаи залегли, а за бугром — партизаны. Тут, пымаш, дело ясное... Брёвна — на снег, залёг, пулемёт мигом наладил... Как резану, пымаш, — полицаи и дали тя-



Под мышкой Фёдор нёс мои валенки.

гу. Не ждали огня с той стороны. Бегут, на снегу ой как видно... Сколько их уложил, пымаш, и не припомню... Командир партизанский самолично руку мне жал. Тужил, пымаш, почему такой боец долго не объявлялся...

Партизаны, слушая пулемётчика, весело переглядывались. Видно было, что они любят и его самого, и его рассказы.

Работал Фёдор умело и ловко. Выкроил четыре подошвы, нарезал полдюжины заплат, натёр дратву варом, взяло шило. Сел поближе к свету, и вскоре всё было готово: перед нами стояли крепкие валенки.

Мы с Серёгой обулись.

— Тепло... — прищурился братишка.

Я оделся потеплее и отправился в лес: решил проверить силки.

В чаще стояла тишина, пахло еловой корой. На осине сидел дятел и острым носом, как шилом, прокалывал толстую кору. Я выбрался на широкую поляну... Что это? На снегу темнели глубокие следы... Около пня лежала яркая коробка из-под сигарет. На этикетке — пальмы, нерусские буквы.

Я перебрался через сугроб, перепрыгнул канаву, понёсся к дому по крепко укатанному зимнику. Задышался: бежать в валенках было тяжело. Сбросил, припустил босиком.

Снег, будто кипяток, обжигал пятки.

А навстречу мне уже бежали партизаны. Фёдор с пулемётом в руках летел первым. Автоматчики на бегу оттягивали рукоятку затворов.

— Фашисты!.. В лесу!.. — закричал я.

Но Фёдор даже не взглянул в мою сторону.

Я взлетел на крыльцо, юркнул в открытую дверь, мигом вскарабкался на печку.

Ноги горели огнём...

В лесу поднялась отчаянная стрельба. Мать схватила Серёгу — и тоже на печь. За печным щитом было не так страшно...

Партизаны вернулись только к вечеру. У одного из автоматчиков была забинтована рука. Фёдор шёл с двумя ручными пулемётами: своим и трофейным. Он весь был обвешан патронными лентами. Ленты торчали даже из карманов полушубка. Партизаны вели четверых пленных. Фашисты были одеты в короткие, цвета еловой хвои шинели. Лица пленных были серыми, как холст.

Под мышкой Фёдор нёс мои валенки.

— Пымаш, еле отбили твоё богатство!

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ



Пришла первая военная весна.

Ночью, когда Серёга уже спал, а я начинал засыпать, негромко постучали в окно. Мать быстро оделась, подняла дверной крюк. Вошли четверо военных. У меня от страха застучали зубы: вдруг полицаи... В темноте и лица, и одежда, и оружие виделись смутно.

— Здравствуйте... Не пугайся, Валентина...

Страх прошёл. По голосу я узнал Фёдора Шалагина. Он был бригадиром, дружил с отцом, одним из первых ушёл в партизаны.

Мать занавесила окна, зажгла лампу, торопливо достала из сундука связку сушёной рыбы и каравай хлеба.

— Спасибо! — улыбнулся Фёдор. — Только сейчас не до этого... Есть дело. Буди старшего.

— А он и не спит. — Мать прибавила в лампе огня.

Я быстро натянул рубаху, надел штаны. Партизаны весело переглянулись. Все, кроме Фёдора, были незнакомыми. За спиной у одного висел трофейный автомат, другой был с коротким кавалерийским карабином, третий был вооружён самозарядной винтовкой, на поясе у Фёдора ви-



сели лимонка и маузер в жёлтой коробке. Все четверо были в зелёных ватниках.

— Гляди-ка, вырос-то как! Будто за уши тянули! — Фёдор взял меня за плечо, легонько потряс: — Садись рядом, мужик!

Фёдор расстегнул планшет, расстелил на столе пёструю военную карту. Партизаны склонились над ней, сдвинув плечи.

Я сразу нашёл кружок, возле которого стояло название нашей деревни. А вот и голубое пятнышко — озеро. Голубой ниткой вилась речка, чёрной — луговая дорога. На карте было всё: лес, большак, болото, озерко Слепец, названное так потому, что в него не впадало и из него не вытекало ни одного ручья. Я легко нашёл мельницу, погост, берёзовую рощу.

— Слушай и запоминай. — Голос Фёдора стал строгим. — В деревне ты самый шустрый мальчишка. Надо выполнить особое задание. Сможешь?

— Сможет... — за меня ответила мать.

— Так вот, в Кожине и Пашутине — каратели. Попробуй узнать, сколько их примерно, как вооружены, есть ли рация, орудия... Понял?

Я поспешно кивнул, боясь, что Фёдор передумает и поручит такое большое дело кому-то другому.

— Дружки есть в Кожине и Пашутине?

— Есть. Я там часто бываю, это недалеко... А в нашей деревне мальчишек совсем мало...

— Это хорошо, что много дружков. Сначала пойдёшь в Кожино, потом в Пашутино. Только постарайся пройти незаметно. Каратели всех, кто проходит, задерживают и никого из деревни не выпускают. Если пойдёшь в Кожино прямой дорогой — пропало дело. Смотри. Рядом — Кривицы, Бобыли, Дворняши. Все на берегу озера. Надо идти

с той стороны. К Дворняшам пройдёшь лесом — никто не увидит...

Фёдор красным карандашом прочертил путь, по которому я должен был идти.

— Вернёшься тоже кружной дорогой. А в Пашутино пробирайся по ручью. Сейчас весна, на ручье обязательно увидишь мальчишек. Ничего не записывай — запоминай. Завтра увидимся...

Партизаны шумно встали. Фёдор свернул карту, уложил в планшет.

Мать подала ему связку рыбы, хлеб.

— Спасибо, Валентина. — Фёдор сунул рыбу за пазуху, уложил хлеб в трофейную сумку.

Сон не шёл, я ворочался с боку на бок, досчитал почти до тысячи... Проснулся чуть свет, начал собираться в дорогу.

— Нельзя так рано, — строго сказала мать.

Солнце стояло над лесом, когда я наконец двинулся в путь.

В лесу кое-где ещё белел снег. Возле чёрных жжёных пней толпились подснежники. На опушке токовали тетерева, с грохотом перелетая с места на место, чужакали, шипели, шумно сшибались.

Я шёл, держа в руках палку: хоть какое, но всё-таки оружие.

Лес расступился, на опушке лежало озеро, на берегу горбилась крышами небольшая деревня Кривицы. Сразу за ней теснились на пригорке избы Бобылей...

Через полчаса я уже был в Дворняшах, а от Дворняшей до Кожина оставалось метров четыреста. На сухой луговине играли в лапту мальчишки. Мяч у них был чёрный, из пористой резины — её вырезали из колёс разбитых броневиков.

- Иди играть! — позвал меня знакомый мальчишка. — Игроков не хватает...
- В лапту неинтересно, вот бы в прятки...
- Народу маловато.
- Айда в Кожино!

Кожинские мальчишки сидели по домам. Улица была запружена фургонами. Выпряженные кони щипали первую траву. Около полевой кухни немец в белом халате рубил топором дрова. На крыльце самого нарядного дома стоял часовой с автоматом. Через сад тянулся, повиснув на ветках, оранжевый телефонный провод. В ствол огромной липы были вбиты скобы, у самой вершины вертелся на досках солдат с чёрным биноклем.

В Кожине жил мой двоюродный брат Анатолий. Он был лишь на год старше меня. Дом, в котором он жил, стоял на самом берегу озера. Я нарочно повёл мальчишек на берег, и Анатолий, увидев меня в окно, пулей вылетел на улицу.

В прятки в Кожине всегда играли около старого глинобитного сарая. Стены его были местами разломаны, оконца не застеклены — влезай, прячься... Водить выпало Анатолию. Я что есть силы швырнул палочку-застукалочку, и все бросились врассыпную. Ужом сквозь тесный пролом я нырнул в сумрак... И замер на месте. Посреди сарая темнели три миномётных трубы. Рядом большие зелёные ящики...

Через час я знал всё...

Оставалось побывать в Пашутине. А что, если не идти кружным путём? Ведь Пашутино рядом, всего километра полтора... А так добрых пять... Идти можно по ольховым кустам, они тянутся до самого ручья...

Думал я недолго. Хоронясь за сараями, вышел к озеру, метров триста бежал по берегу, нырнул в ольховник. Вско-

ре я был уже около большака. Его нужно было перебежать. Остановился, лёг — по дороге двигался длинный обоз: фургоны, телеги, дроги... Замелькали зелёные немецкие каски. Я насчитал сорок три повозки, семь тяжёлых пулемётов, шесть миномётов.

Наконец обоз скрылся за поворотом. Я встал, побежал...

— Хальт! Хальт! — отчаянно закричали из-за кустов. Оглянулся и помертвел: почти за каждым телеграфным столбом лежал солдат с карабином — фашисты охраняли дорогу.

На меня смотрел узкий ствол станкового пулемёта. Из алюминиевой коробки взбегала вверх патронная лента. Пулемётчик был без шапки, шинель распахнута. Пригнулся, прицелился... Рядом с пулемётчиком лежал офицер, что-то кричал.

Я побежал. Спине стало нестерпимо холодно. Очереди не было. Оглянулся: пулемётчик передёргивал ленту — либо пожалел меня, либо и вправду пулемёт отказал. Вскочил на ноги офицер, вырвал из кобуры пистолет. Солдаты торопливо вскинули автоматы. Загрохотало, пронзительно засвистели пули...

Но я был уже за гребнем большака. Врезался в кусты, побежал, пригибаясь. Взревел пулемёт. Пули секли ольховник, шипели, щёлкали... Лёг, пополз...

Пашутинские мальчишки все были на реке. Бросились навстречу:

— Где стреляют? Не видел?.. На большаке? Партизаны?..

— Не-е зна-аю... — покачал я головой, обессиленно сел на откос.

— Наверное, партизаны. У нас немцы стояли, все уехали... Туда, к Кожину...

— А-а... — протянул я.

Домой я возвращался берегом ручья. Цвела ольха, над водой вилась золотистая пыль. Пели дрозды. Пролетели и опустились на плёс дикие утки.

Вдруг меня окликнули по имени. За елью стоял Фёдор Шалагин. Я бросился к нему, прижался. От ватника Фёдора пахло смолой и порохом.

— Ну и натворил ты дел, — сказал Фёдор. — Ладно, первый блин комом... Рассказывай, отчаянный!

Дома ни жива ни мертва ждала меня мать. Притихший Серёга всплеснул руками.

Мы сели ужинать...

ЛЕС ДЕДА СЕМЁНА



Второе военное лето было солнечным, сухим. В пояс поднялась трава — не-ко-сь. Бои шли почти каж-дый день...

В то утро никто не удивился стрельбе: сно-ва каратели. Но выстре-лы гремели не так уж ча-сто, почему-то молчали автоматы и пулемёты. Наконец на опушке пока-зались солдаты. Они шли цепью. Лаяли собаки, кто-то громко кричал. Над озером поднялась стая уток, и тотчас началась настоящая канонада.

— Охотничают... — удивилась мать.

Мы с Серёгой прижались к подоконнику. Стреляли только офицеры, сидящие верхом на конях. В руках у каж-дого офицера было ружьё. Солдаты просто охраняли их и выпугивали дичь. От страха залетел на огород огромный тетерев...

К вечеру стрелять перестали. Мы сели ужинать. Вдруг негромко постучали в дверь. Вошёл старик в армяке серо-го шинельного сукна. На широкий воротник падали седые космы. Это был дядя нашей матери — дед Семён. Перед войной он часто бывал у нас. С собой дед приносил ружьё-шомполку. Больше всего на свете он любил охотничать.



Мы с Серёгой во все глаза смотрели на деда. Он положил на стол буханку хлеба, кусок сыра, плоскую консервную банку с дамой пик на этикетке.

— На работу вот устроился. К немцам. Буду в лес их водить. Заместо егеря.

— Что ты, дядя Семён... — Мать переменялась в лице. — Да лучше с голоду умереть...

Дед достал из кармана тоненькую алую коробочку, подцепил ногтем сигаретину, закурил. Хмурое дедово лицо утонуло в папиросном дыму.

— Что я, в полицаи иду, что ли? Кормиться-то надо. Вы вот рожь сеете, а фашист отбирает. Вроде барщины. А я, значит, в батраки нанялся. В лес к партизанам — стар, только помеха... Не возьмут...

Мать отвернулась, долго смотрела в окно.

— Как это ты так надумал? А?

— Приказали, вот и надумал. Нет у меня выхода. Помирать-то неохота. Хоть бы ещё одно летечко... В лесу вольготно, приветливо... Тетерева много, белой куропатки...

— Уйди ночью, дядя Семён.

— Куда идти-то? Ведь они, окаянные, догонят.

— Больным скажись. Нарви лютика, дело нехитрое.

— Ладно, спасибо... Берите хлеб. Знаю, как живётся. А мне пора. Полковник сердитый...

Я ничего не понимал. Что-то было не так...

С гражданской войны дед Семён вернулся хромым. Все думали, что он бросит охотничать. Нет... Старик работал сторожем и каждую свободную минуту пропадал в лесу, потихоньку ковылял от ёлки к ёлке. И видел то, что раньше по торопливости не замечал. Часто приходил к нам, брал меня на охоту. С дедом в бору было не страшно. Я нёс ивовую корзину. В неё мы складывали грибы бо-

ровики, горстями сыпали брусницу. Иногда деду удавалось подстрелить тетерева, мы весело кричали «ура». Косача прятали в корзину. Брови у тетеревов были ярче брусники. Заполевав дичину, дед оставлял ружьё незаряженным.

«Надо же и другим оставить», — говорил старик с улыбкой.

Но охота продолжалась. Мы прятались под шатровой елью, следили за рыжим зайчонком, видели, как молодой ястреб гонится за вёрткой сорокой, как клюют голубику белые куропатки... Однажды нас до смерти напугал сорвавшийся с поляны глухарь — огромный, куда больше нашей корзины. Бурый, будто обросший лишайником, медведь ловил на протоке рыбу. В чаще шелестели родники-кипуны...

В деревню мы возвращались в вечернем тумане. Дед шутил: «Гляди-ка, заяц пиво варит к празднику...»

Наутро дед Семён пришёл снова. Под мышкой у него была гармоника. От широкой, помелом, бороды пахло вином. Сел на лавку, заиграл... Однажды зимой мы с отцом шли по лесу. Шелестела вьюга, в боровинах были волки. Было страшно, больно замирало сердце. Дед Семён играл сейчас, и сердце замирало, как тогда на просеке...

— Был с ним, с барином, в лесу. Партизан боится, всю боровину солдаты оцепили, фельдфебель с биноклем на елине сидел... Дивился полковник. Сколько лесу, мол, пропадает зря... Жадные они, фашисты. Если победят — всё по-своему переделают. Лес срубят — в озеро карпа напустят, курорт поставят, кочки сроят... — Старик бешено ударил кулаком по столу, глянул на мать: — Инструмент здесь оставляю. А то ещё играть заставят после обеда аль ужина. Вчера насчёт бороды смеялись. Мол, сбрить надо...

Дед ушёл. Было видно: мучается.

...В своей деревне дед слыл чудаком. Он собирал жёлуди и, когда набрал целый мешок, распахал пустошь и засеял желудями. Перед войной молодые дубки вымахали в мой рост.

Дед Семён почти всю жизнь был бедным. Однажды я прочёл при нём рассказ про Ваньку Жукова. Дед ручьи-сто, по-бабьи заплакал: «Как будто про меня...»

Мальчишкой он ходил в дальнюю деревню, учился у гармонного мастера. Однажды опоздился, и всю дорогу за мальчонкой шёл волк... И такой человек вдруг стал батраком. Нет, этого быть не могло... Я ничего не понимал.

Наутро без стука влетела в горницу тётя Дарья:

— Деда Семёна взяли! Связанного вели. В коменданта стрелял... Промахнулся. Что-то помешало. У офицера голова тряпкой замотана — орёт, матершинит...

— Теперь конец... — Мать бессильно опустилась на лавку.

Я убежал на сеновал, уткнулся в сухое сено. Лежал с открытыми глазами, прислушивался к каждому шороху. В чаще прохрипел филин. Плеснула на озере какая-то рыба.

Ночью мы с матерью не спали. Серёга без конца просыпался, вздрагивал во сне.

Едва рассвело, мать куда-то ушла. Долго не возвращалась. На улице сияло солнце, но выходить из дому мы с Серёгой почему-то боялись. Не притронулись к хлебу и кринке молока...

Мать вернулась наконец. Встала у порога, прислонилась к косяку.

— Расстреляли деда Семёна. Ещё вчера вечером. Я просила, чтоб сказали, где зарыт... Переводчик только посмеялся: «В лесу». А лесов вокруг много... Значит, чтоб и памяти о человеке не было...



Наутро дед Семён пришёл снова.

Целый день я ходил по лесу, искал, но ничего не нашёл. Упал в густую траву, заплакал. Рядом темнел лес. Он был такой же, как тогда, когда мы с дедом Семёном ходили на охоту...

Нет деда и не будет. Остался только бор. Как просто убить человека. Так же просто расправиться с лесом — деревья свалить, перебить всё живое... Нет, этого не будет! Люди не позволят!

Налетел ветер — лес негромко зарокотал. На опушку выбежал палевый зайчонок, замер, рогаткой расставил уши. Пролетели по-летнему пёстрые тетерева. Морозно пахло смолой...

Будто большая синяя крепость, стоял лес деда Семёна.

ШЕЛЕШНЁВСКИЙ БОЙ



Фашисты появились будто из-под земли. Их было много — не меньше роты.

Головной фургон остановился около нашего сарая. Солдаты торопливо спешили. Пулемётчики залегли за канавой...

Вместе с солдатами были полицаи и волостной старшина. Тщедушный офицерик с жестяным полумесяцем на груди тряс пистолетом. И офицерик, и волостной старшина были пьяны.

Волостной мутным взглядом обвёл притихшую толпу.
— Объявляю приказ. Нужно сдать хлеб, мясо и прочие продукты... С хозяйства по овце или телёнку, муки четыре пуда.

К волостному бросилась наша соседка Дарья:

— Нету у нас ничего!

— А для партизан есть? — это захохотал волостной старшина. — Кто не сдаст положенное, отберём корову. Кони есть?

Люди угрюмо молчали. Коней уже давно прятали в лесу. Табун по очереди пасли мальчишки. Я сам пас несколько ночей.

Табун был небольшой: лучших коней отдали



партизанам. Шло второе военное лето, партизан становилось всё больше.

Не дожидаясь особой команды, солдаты уже хозяйничали в деревне, с криком ловили кур, выводили из хлевов телят, пригнали в деревню стадо. Кур каратели бросали прямо в фургоны, коров, обвязав верёвкой рога, привязывали к фургонам сзади. Солдаты торопились: видимо, боялись партизан.

Бежать к партизанам, рассказать! Через минуту я уже полз по чёрному саду. По лицу били обгорелые, жёсткие, как проволока, ветки. Трава пахла сажей. За садом была изгородь. Нырнул в лаз, кубарем скатился под берег. Лес был уже совсем рядом.

Упал, быстро пополз... За спиной загрохотал «шмайсер», сверху посыпались срубленные очередью ольховые ветки...

Кони паслись на заросшей иван-чаем гари. С одностволкой на плече стоял под ёлками Проня Пантелеев.

Поймали Буланого — молодого ходкого коня. Проня отдал ружьё, четыре патрона, принёс из шалаша уздечку. Седла не было.

Мчался наугад — по просекам, опушкам, просёлкам, летникам. Холка у коня была жёсткой — я чуть не плакал от боли, в кровь разбил ноги. Вокруг был только лес — тёмный, сумрачный. На спине подпрыгивало ружьё.

В разрыве ёлок сверкнула узкая речка. Конь резко остановился: он хотел пить. Спустились под берег. Буланый пил жадно, бока его вздувались, будто кузнечные мехи...

И снова — по просекам, полянам. Вдруг запахло дымом — рядом были люди. Рванул поводья, прижался к гриве коня...

На просеке, среди глухого леса, колот дрова парень

в полотняной рубахе. Под нависью еловых лап ярко белели поленницы. Парень вздрогнул, бросил топор, схватил короткий кавалерийский карабин. Я осадил коня, спрыгнул наземь. На просеке стоял Колька Пантелеев — старший брат Прони.

— У-у, чертёнок, напугал... Несётся как очумелый. Что там стряслось? Идём к командиру!

Среди ёлок теснились шалаши, заросшие травой окопы. Дымила полевая кухня без колёс, пахло ухой. В брусничнике, будто тетерева, бродили куры. С ёлки на ёлку сбегал красный телефонный провод. Под огромной, как стог, сосной горой лежали зелёные ящики. Рядом в чаще стояли осёдланные кони. Сёдла были самодельные, из кусков кожи и вырезанного из валенок войлока. Позвякивали наспех откованные стремяна.

Меня окружили партизаны. Одеты они были кто во что горазд: в грубые домотканые куртки и штаны, в суконные трофейные мундиры без погон, в зелёные ватники и кожанки. Обувь под стать одежде: сапоги, поршни, кованные солдатские башмаки. Алые ленты на шапках, самодельные портупеи, оружие всевозможных систем: «шмайсеры», бельгийские ручные пулемёты, чешские карабины, тяжёлые канадские винтовки. Больше всего было новеньких советских автоматов.

Я смотрел во все глаза... Партизаны вдруг расступились, и я увидел, что ко мне идёт высокий парень в кубанке и зелёной гимнастёрке, в серых трофейных бриджах с леями, в хромовых сапогах до колен. Гимнастёрка его была перехвачена широким ремнём с двумя пистолетами и палахом. На сапогах звякали шпоры. Я понял: это командир. Сбиваясь, принялся рассказывать.

— Орлов, Климов... — Рука командира легла на кобур. — Немедленно выступаем... Тот же карательный отряд.

Вчера они ограбили семь деревень, разбили вторую заставу. Вооружены до зубов. Пулемётов втрое больше обычного... По рации сообщить в бригаду!

Всё вокруг пришло в движение. Пронеслась по просеке конная разведка. Командир хриплым голосом отдавал распоряжения. Я удивился: он был совсем молод, безус, щёки как у девушки — с брусничным румянцем. Вывели коня под кавалерийским седлом. Командир поймал поводья, легко взлетел в седло.

Взвод за взводом выбегали на просеку партизаны. Меня никто не замечал, обо мне словно позабыли. Бросился к Буланому, торопливо отвязал от ёлки, вместе со всеми вылетел на просеку...

— Стой! Ты куда?

Командир конём загородил мне дорогу.

В правой руке командира змеёй извивалась плеть, в глазах стыла ярость. Выругался, рванул поводья, помчался догонять бойцов... Колька на ходу перезаряжал карабин.

Проня ждал меня на горях. Кони спокойно щипали траву. Я снял с Буланого уздечку, поставил под ёлку ружьё... Весело посмотрел на Проню:

— Братана твоего видел... С карабином.

В сумерках я вернулся в деревню. Мать с Серёгой на руках сидела около окна. Я открыл дверь — бросились навстречу. Серёга закричал от радости. Мать гладила меня по голове...

В избе было всё перевёрнуто вверх дном.

— Чернуху увели?

— Увели... Погибели нет на проклятых. А что с тобой было? Солдат испугался? Это в тебя стреляли?

Я рассказал обо всём. Мать слушала не перебивая.

— Не догонят, наверное. Каратели теперь хитрей



стали. Ограбят деревню-другую — и тягу... Да и много их — не всякий отряд справится...

Уже светало, когда меня разбудила мать.

— Чернуха вернулась! — сказала она. — Стоит под окном и мычит! Я сначала подумала, снится... А вымя-то тяжёлёхонько... Вон сколько надоила.

На столе в ряд, как солдаты, стояли кринки — шесть чёрных кринок. Я растолкал Серёгу, и мы вдвоём отправились смотреть Чернуху. Она как ни в чём не бывало спала на соломе в тесном своём стойле...

Прибежала с радостными вестями тётка Дарья: вернулись все коровы.

— Бой под Шелешнями был... Десять вёрст отсюда. Коровы, вишь, нашли дорогу!

В полдень загрохотали повозки. По дороге ехали партизаны. В трофейных фургонах и на телегах тесно сидели автоматчики. Обочь дороги рысили верховые. Отряд двигался медленно, в строгом молчании... Возле дома Пантелеевых обоз остановился.

— Коля приехал! Коленька!..

Счастливая, раскинув руки, бежала тётя Клавдя и вдруг пошла шагом, остановилась...

Колька Пантелеев лежал на широких дрогах. На груди, на белой парусиновой рубаше, темнело пятно. Другое пятно, не больше брусничного листа, было на виске. Как пшеница, золотились густые русые волосы.

К тёте Клавде подошёл партизанский командир. Снял с головы кубанку с кумачной лентой.

Колю и семерых его товарищей закопали на опушке в рудом, сыпучем песке...

Вечером отряд ушёл в леса... Но рядом с нашей деревней на старой мельнице партизаны оставили заставу. Я понял: теперь и здесь партизанский край. Если подойдут каратели, застава примет бой и вызовет подмогу...

И ещё я понял: у партизанского края есть граница.

Наутро возле озера спокойно паслось стадо. И рядом со стадом щипали траву разномастные деревенские кони.

НОЧНОЙ СЕНОКОС



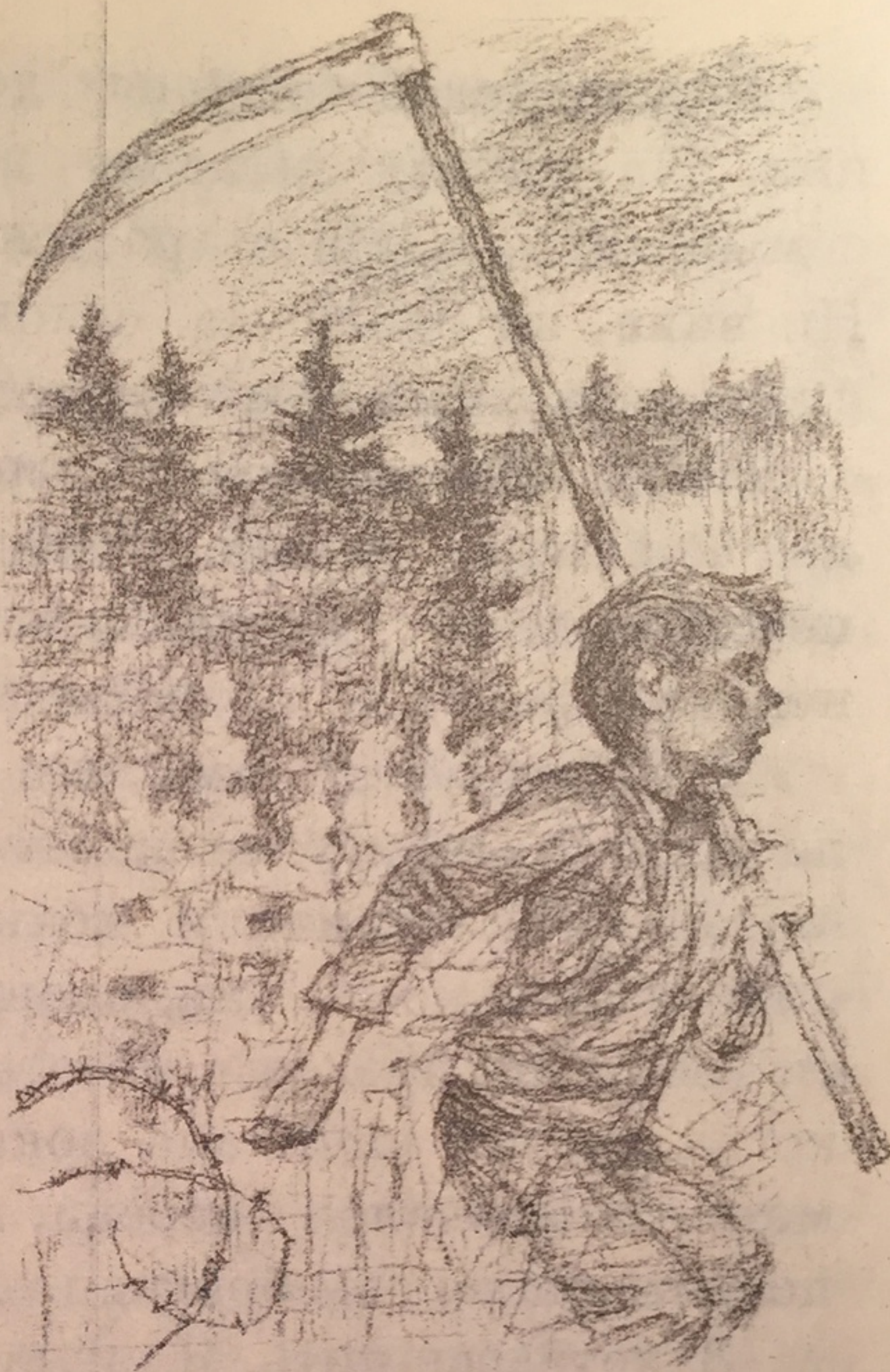
Три дня шли бои. Один за другим по большаку проходили карательные отряды. У партизан не хватало патронов. Даже автоматчики стреляли одиночными. А каратели били из тяжёлых пулемётов. Подожжённые термитными пулями, горели омёты соломы. Фашисты пытались прорваться любой ценой.

Леса и деревни казались вымершими. В хлевах мычали недоенные коровы, осыпались переспелые ягоды, глохла побитая росой трава...

На четвёртый день каратели отступили... Вечером над озером стоял тихий туман. Около кузницы мужики отбивали косы; резкий сухой стук был похож на тёктанье дятла. По улице шли одетые по-покосному девушки. Дошел голос бригадира: он кого-то ругал и что-то приказывал. Всё было как до войны.

Пора косить... А покосишь ли? Немцы рядом, над лесами кружат самолёты, утром наверняка бой. Нет, какой уж там сенокос. Видно, придётся ждать осенней отавы.

Я забрался на сеновал, лёг на старое, с плесенью, пахнущее мышами, горячее сено. Вспомнилось вдруг давнее...



Для жителей северных деревень дни сенокоса — праздник. На работу выходят всей бригадой, как бы одной семьёй, и каждый старается не ударить в грязь лицом. Ни вина, ни браги на сенокос не берут, только бутыли с молоком, заткнутые пучками соломы.

Люди наряжаются в самые яркие, праздничные одежды. Рубахи — белые и красные, сарафаны и косынки — пёстрые, под стать покосному лугу. И у каждого на тоненьком ремешке брусочница, плетённая из берёсты...

Я любил косить вместе с отцом. Коса у отца всегда была оттянута в жгучее жало. Работал он не торопясь, обкашивая муравейники и кочки. Иной косит, будто песню поёт, а отец косил так, словно думал большую думу. Почти весь день плёлся в хвосте покосного ряда, но к вечеру, когда других начинала покачивать усталость, отец незаметно оказывался впереди, и уже никто не мог за ним поспеть, даже сам бригадир Андрей Шалагин...

Захотелось пить. Я спустился с сеновала, вошёл в дом. Кринки с молоком стояли на столе. В горнице царила тишина, матери дома не было. Бросился в сени, сбежал с крыльца. Под поветью стояла только одна коса — отцовская.

От обиды потемнело в глазах. Схватил косу, перемахнул через изгородь, выбежал на опушку.

Около реки на заливном лугу слышались голоса. Я вошёл в густую траву, двинулся к реке. От волнения гулко стучало в груди.

Голоса становились всё громче. Вверху качалась подтаявшая луна. С треском взлетела стая серых куропаток. Молодых было вдвое больше обычного: значит, в одном из выводков погибли родители, и уцелевших птенцов приняла соседи. Стая отлетела в сторону, опустилась на стерню.

Я услышал знакомый звук: отчётливо вжикали косы. В темноте цепью, будто в атаку, двигались косцы.

Смутно белели косынки и рубахи. Пахло шмелиным мёдом, цветами и земляникой.

Первым шёл Андрей Шалагин — высокий, лёгкий, с широкими крутыми плечами — в гимнастёрке, в кубанке с кумачной лентой. Под гимнастёркой, будто шатуны, бились крепкие мускулы, за плечами метался из стороны в сторону ствол винтовки-трёхлинейки.

Чуть отстал партизан в гремучей холщовой рубахе. Из-под шапки выбивались хмельные волосы. В середине ряда шла мать. Она была в своём лучшем платье, в белейшем старинном платке. Резко, по-мужски держали косьё загрубелые руки. Коса шипела по-змеиному, вспыхивала в лунном свете...

Над холмами затарахтел самолёт-разведчик. Побросав косы, залегли в траве. Самолёт летел низко, едва не задевая за вершины холмов. Чёрный, огромный, он сразу заслонил собою полнеба. Широкие крылья, как туча, нависли над полем. Ещё один миг — и застучат пулемёты... С надсадным рёвом пронёсся над лугом, потонул за тёмным массивом леса.

Я встал в общий ряд. Крупная, как картечь, роса вместе с подкошенной травой падала наземь. Косы шелестели звонче и звонче. За лесом разгоралась утренняя заря.

Бригадир косил, словно пел песню. Он уже подступал к смутно светлеющему просёлку. Коса в огромных руках казалась тоненькой палкой. Многие выбились из сил и отдыхали, а он как будто только начал работу — рубил, крушил, опустошал заросли медоцветов.

И вот уж просёлок рядом. Бригадир круто развернулся. И в ту же секунду полыхнула слепящая вспышка, земля вздрогнула, словно телега на огромной рытвине. До не-

ба встал столб земли. С тяжёлым шорохом на луг обрушилось песчаное облако.

Я упал, на зубах противно скрипел песок. Потом стало нестерпимо тихо.

— Назад! Мины! — закричал партизан в холщовой рубахе. Он был уже без косы и правой рукой поддерживал левую.

Люди стояли как вкопанные. Около большака зияла дымящая воронка. Пахло угарным газом...

Когда все отошли, двое партизан медленно двинулись к большаку, подняли раненого бригадира, осторожно вынесли к озеру. Люди молча выбирались на дорогу. Бригадира бинтовала партизанская санитарка; бинт ярко белел в предрассветном сумраке. Молодой партизан вывинтил из винтовки шомпол, принялся им, как щупом, колоть мягкую землю. Присел на колени, долго возился, потом, держа в руках, будто ковш, всклянй налитый водой, вынес на дорогу противопехотную мину — невысокую зелёную банку... Ещё несколько партизан вытащили шомпола. Люди стояли на дороге, никто не решался сделать ни шагу. Бригадира уложили на плащ-палатку, четверо парней взялись за её концы, двинулись к деревне.

Косари шли следом. Я держался за руку матери.

За лесом простучал пулемёт, взлетела ракета. Каратели были рядом, они готовились к новому наступлению...

Вечером снова застучали молотки. О чём-то шумно, как всегда, спорили бабы. Всех громче звучал голос матери: её на время выбрали бригадиром.

В темноте вместе с партизанами колхозники снова отправились к лесу, за заросшие иван-чаем заброшенные гари. Я шёл рядом с матерью, нёс косы, кринку молока и холщовую суму с хлебом. Мать шла осторожно, неторопливо, оглядчиво, будто по тонкому льду.

ЗА СОЛЬЮ...



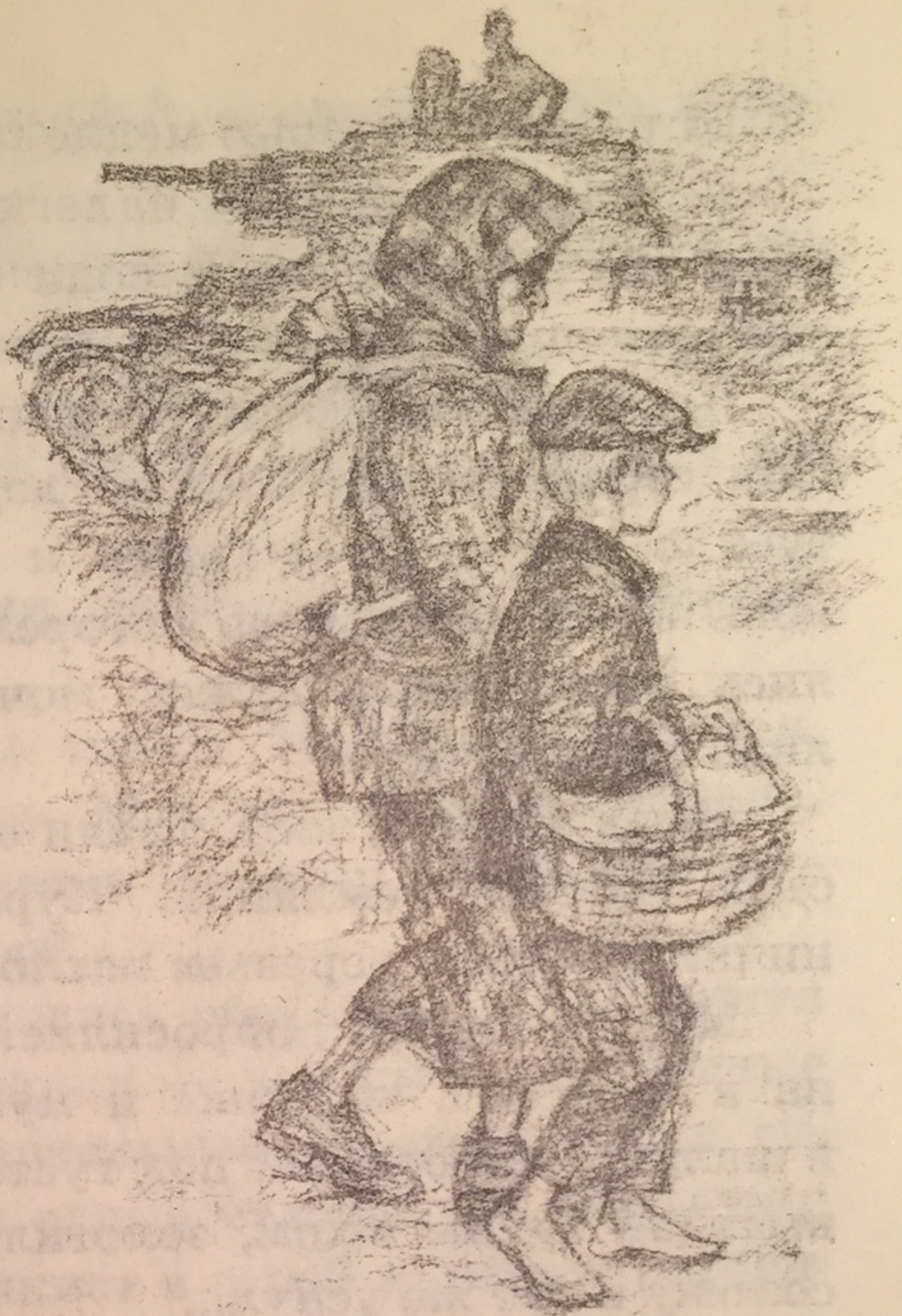
Осенью убрали хлеба, запаслись овощами, картошкой. В лесах щедро уродились грибы и ягоды. На озере стар и мал ловили рыбу. Не хватало одного: соли...

Мать придумала идти за сорок вёрст в город. Серёгу оставили у Огурцовых. В крепкий мешок мать уложила три карабая, полстину свинины. Сверху, на случай, если немцы будут обыскивать, насыпала картошки. Мне

досталось нести корзину с яйцами, уложенными на зыбкий мох и прикрытыми низкой сухих грибов. В дорогу мать взяла бутылку молока и ягод. В путь тронулись чуть свет. Я шёл босиком.

Трава была тусклой и морозной от росы. Шли лесами, по просекам и огнищам. К дороге подступала некошенная трава — густая и высокая, как молодая рожь. В лесах давно никто не охотничал, и звери совсем не боялись человека.

Вышли к опушке и замерли на месте. Где-то совсем рядом бешено стучали копыта коней. Догадался: немецкая кавалерия. У партизан была только конная разведка. Ошибся: мимо нас, взрывая лёгкую лесную землю, с грохотом пронеслось лосиное стадо...



Шли мы с матерью медленно: слишком тяжёл был груз.

— Обратно пойдём налегке, — утешала мать. — Обменяем всё это на соль, а соли много не дадут... Хорошо бы ещё выменять сахарина и спичек.

Вечером мы вышли к покатою, заросшей ёлками горе. Под горой прежде стояла деревня. Теперь на её месте тускло чернели пожарища и спалённые сады. Ветки яблонь были похожи на обгорелую проволоку. Слепо светились засыпанные сажой мочажины, кучи пепла горбились сугробами.

Люди жили в лесу. Среди ёлок теснились шалаши и наспех отрытые землянки. Куры, квохча, бродили в брусничнике. Среди деревьев паслось пегое стадо.

Мы с матерью попросились ночевать. Высокая женщина в мужском пиджаке и мужских сапогах провела нас в шалаш, устроенный под густой елью. Внутри шалаш был выстлан сухим мхом, золотились пуки соломы. Я лёг на солому и тут же уснул...

Открыв глаза, увидел, что уже утро. Мать и хозяйка разговаривали.

— Давно сожгли-то? — негромко спросила мать.

— А по весне... Солдат ходил с канистрой и поджигал всё подряд. Обольёт бензином — и щёлк зажигалкой... Народ в лесу попрятался, чтоб в неметчину не угнали.

— У нас тоже так было, — вздохнула мать. — А что же ты одна-то?

— Муж на фронте. Живой ли, не ведаю. Дочку в Германию увезли, сын на mine подорвался...

Женщина помолчала.

— За лесом на лугах берёза стоит. По весне её грозой обожгло. Так вот я как та берёза — ни мертва, ни жива.

Женщина сидела, кутаясь в чёрный платок. Лицо её было и вправду белым, как берёзовая кора.

— С продуктами небось плохо? — сказала мать и пошла к тяжёлому мешку.

— Не суетись, — нахмурилась хозяйка. — Много ли одной надо. А у тебя мальцы...

Я сел, потянулся. Мать и хозяйка улыбнулись.

— Встал наконец, — прищурилась мать. — Пора в дорогу. Боюсь опоздаться...

Шли просеками, полянами. Я шатался под тяжестью корзины. Ноги гудели...

У дороги стояла разбитая грозой берёза — та самая, про которую говорила хозяйка. Маковка её была сломана, ствол расщеплен, высохшие ветки поникли. Лишь несколько веток ярко зеленели листвой.

Вышли к большаку, поплелись обочиной. Я вздрогнул от грохота: по шоссе шли танки — зелёные, как лесные холмы. Резал тишину пронзительный скрежет, вился сизоватый дым, покачивались тупые стволы. Из открытого люка косо глянул на нас танкист в серой куртке с погонями. На голове танкиста белел широкий бинт.

Большак грохотал, ревел, дребезжал, тонул в рыжей пыли. Пахло резиной, кремнём, гарью. Тяжело шли полугусеничные транспортёры, мелькали легковушки с пропусками на ветровом стекле. Колоннами шла пехота. Пехотинец-ефрейтор, хохоча, запустил в нас с матерью еловой шишкой.

Впервые в жизни я видел столько боевой техники и солдат сразу. Не верилось, что такая сила не могла сокрушить партизан, у которых были только автоматы и пулемёты. И всё-таки не сокрушила. Почему — я ещё не понимал...

Впереди светлела широкая река. Возле моста торчали оплетённые колючей проволокой колья, виднелся корявый еловый шлагбаум. На мосту и возле шлагбаума стоя-

ли солдаты с автоматами. Мать достала из-за пазухи свой паспорт и мои метрики.

Часовой коротко махнул рукой...

За мостом, на недалних холмах, лежал город. В зелени садов прятались белые дома под красными черепичными крышами. Рядом на пустырях чернели сожжённые танкетки, земля была изрыта воронками от взорвавшихся снарядов и окопами. Над разбитой водокачкой кружила стая ворон...

Прошли мимо железнодорожной станции. На затравевшей насыпи желтели ржавые стрелки. Под откосом лежали опрокинутые вагоны и платформы. Поезда не ходили с тех пор, как город захватили фашисты.

Мы поднялись на насыпь, пошли тоненькой тропкой. Насыпь по пояс заросла травой, в траве прятались шпалы и оранжевые от ржавчины рельсы.

Вдруг мать схватила меня за руку... Навстречу бежал солдат с автоматом наперевес. По рельсам катились вагоны — три красных пульмана.

— Поезд... — удивилась мать.

Ни паровоза, ни паровозного дыма видно не было. Да и быть не могло: паровозы успели спасти, угнать в советский тыл...

Вагоны выкатились из-за кустов, и я увидел толпу бегущих людей. Через плечо у каждого была перекинута лямка, блестели туго натянутые тросы. Люди бежали, налегая на лямки, вагоны раскатывались всё сильнее и сильнее... Пёстрая рваная одежда, колодки, опорки, белые пятна лиц...

— Пленные, — выдохнула мать.

На крышах вагонов лежали автоматчики, с тормозных площадок хищно глядели ручные пулемёты... Пленные шатались, будто камыш на ветру, жадно глотали воз-

дух... Двери одного из вагонов были открыты: до самого потолка он был загружен кирпичом. Состав двигался бесшумно, топот бегущих людей глушила трава, и всё, что я видел, казалось глухим утренним сном... Будто бурлаки, пленные бежали наклонясь, вернее, не бежали, а шли впробежку.

Пленные чуть замедлили бег. С тормозной площадки спрыгнул солдат с палкой, палка так и запрыгала в воздухе... Кто-то отчаянно вскрикнул, схватился руками за разбитую голову...

И снова, раскатываясь, пошли вагоны, запорошённые багровой кирпичной пылью. Пленные качались, как тростник, налегали на брезентовые ленты, шли наклонясь, словно против сильного ветра.

— Может, и отец твой вот так... — В глазах у матери был страх. — Идём, скорее идём... Здесь должно быть много пленных. На кирпичном заводе работают. Посмотрим из-за проволоки.

Найти кирпичный завод было просто: к нему шла железнодорожная ветка, издали было видно трубу...

— Что только фашист не придумает... — Мать шла так быстро, что я с трудом её догнал. — Запрячь человека, как скотину... Спрятались в городе от партизан... Ничего, партизаны и сюда придут!

Баракы стояли тесно, как стога. Над густой проволочной оградой смотрели с вышек часовые.

Люди за проволокой одеты были хуже нищих — одежда их была рваной, наспех залатанной, пёстрой. На ногах опорки, тяжёлые деревянные колодки.

Увидев нас с матерью, пленные бросали лопаты и тачки, бежали к проволоке. Истошно кричали часовые...

Весь в кирпичной пыли, прижался к высокому столбу парень на самодельных ивовых костылях. Лицо его пока-

залось мне знакомым: может быть, я видел парня среди партизан? Бородатый старик что-то кричал матери...

К нам уже бежал часовой. Не раздумывая, матьхватила из мешка каравай хлеба, за ним — другой, третий... Кувыркаясь, буханки полетели через проволоку. Полстина свинины запуталась в колючке. Обдирая в кровь руки и плечи, к ней бросилась толпа пленных.

Часовой был уже рядом. Мать схватила корзину с яйцами, изо всех сил бросила через ограду. Яйца снежными комьями покатались по зелёной траве.

Часовой, крича, вырвал у матери торбу:

— Вег! Вег! Бистро!

Мы побежали прочь, не оглядываясь.

Перевели дух только на опушке рощи.

— Вот и сходили за солью, — покачала мать головой. — Что соль, без того во рту солоно...

Нужно было возвращаться домой. Хотелось есть, но торбу с харчами отобрал солдат, а если и не отобрал бы, мать всё равно бросила бы её пленным.

— В лесу ягод наберём — пообедаем... — Мать положила мне на плечо руку. — А идти теперь будет легко...

ВАСИЛИЙ ИЗ ПЕРЕТЁСА

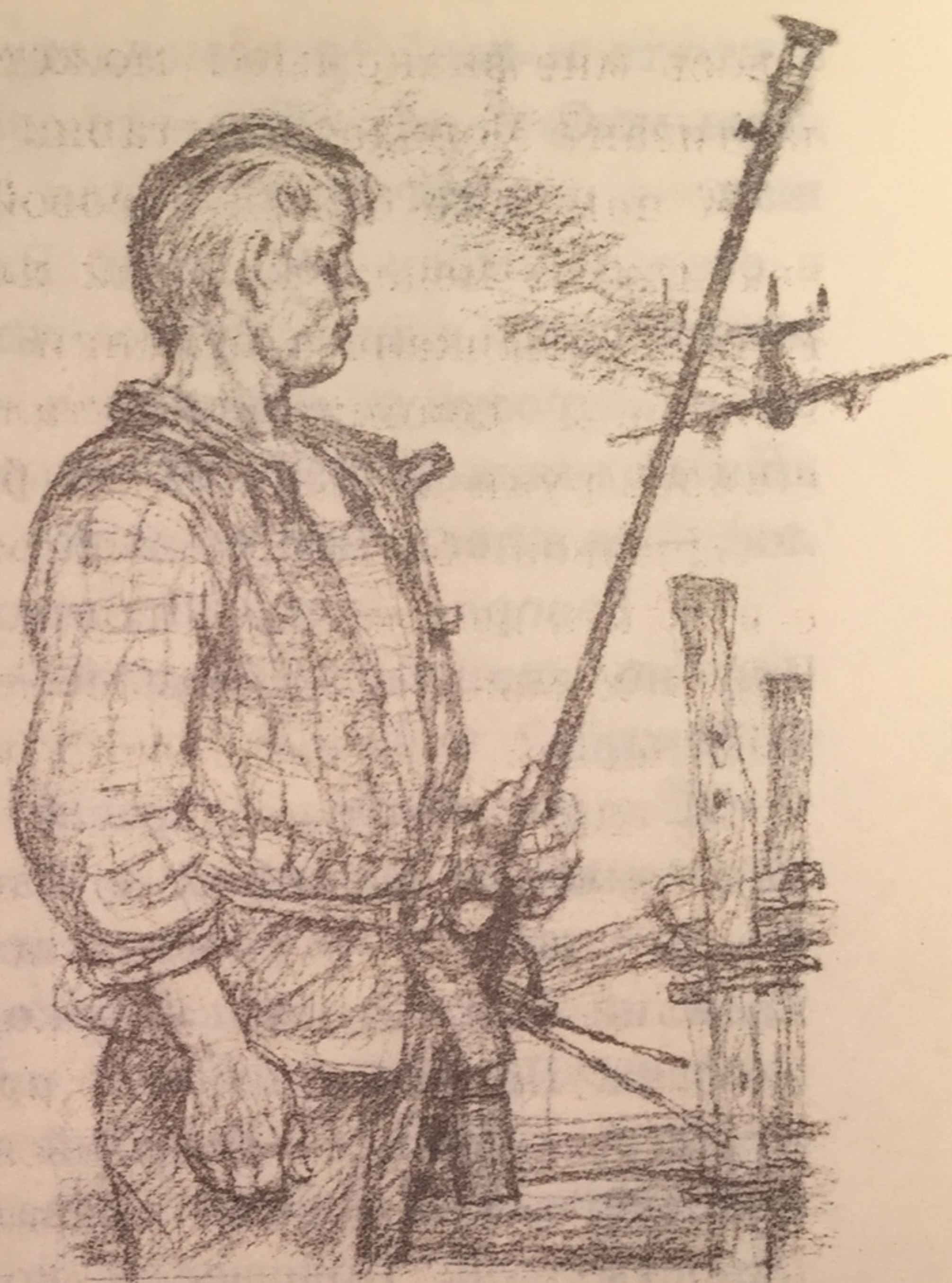


Отец его, кузнец, был человеком редкой силы — однажды на спор руками остановил мельничное колесо. За Василием сначала не примечали ничего особенного. Но вот как-то раз бригадир послал его принести охапку соломы, посмотрел в окно и ахнул: по полю плыл огромный зарод. Василий шутя переносил из озера в озеро коягу — тяжеленный плот из двух долблёных осин.

Когда вершили стога, Василий подавал на семиметровых вилах целые копны сена...

Про молодого парня ходили в округе легенды. Я видел его только раз — на ярмарке. До Перетёса, где он жил, было от нашей деревни вёрст девять. Василий оказался худощавым, высокого роста, волосы будто у девушки — густые, кольчатые... Когда началась война, Василий ушёл в партизаны. Говорили, что в отряде он один из самых отчаянных...

— Слыхали? — прибежала к матери тётка Дарья. — Кузнецов сын, из Перетёса, танку подбил... Из какого-то ружья вроде пушки. В плен был взят. Полицаи схватили. Приехал к отцу-матери, в баню пошёл с дружкой,



а кто-то и донёс в комендатуру. Приказано было брать живым. Семерых сбил, еле связали. Товарищ к лесу побежал — подстрелили. Пуля в ногу попала. Связанных в старый амбар посадили. Василий-то поднатужился, верёвки и разошлись, будто гнилые. Нашёл вагу — целое бревно, просунул в оконце, и — раз! — стена на целый аршин поднялась. Взял он на руки товарища, как дитё малое, — и в лес... Всю ночь шёл, говорят...

— Говорят — значит, правда, — согласилась мать. — Зря не скажут... Василий — парень добрый, сильный. Богатырь...

И вдруг летят по деревне дроги, стучат, а на дрогах партизаны, и среди них — Василий из Перетёса. Хмурый, повзрослевший. С противотанковым ружьём на коленях. Василий был без шапки, в коротком ватнике, в коротких сапогах. На поясе зелёная противотанковая граната. Повозка остановилась, Василий во весь рост встал на дороге. Противотанковое ружьё казалось в его огромных руках одностволкой. Подошёл к колодцу с журавлём, поднял ведро воды, долго пил прямо из ведра. В одну минуту Василия окружила толпа. Я с мальчишками старался изо всех сил пробиться поближе...

— Танков много подбил?

— Василий, браги не хочешь? У нас брусничная...

— В Перетёсе, говорят, немцы...

Смущённо щурясь, бронебойщик молчал...

Партизаны сняли с повозки скатанный невод, понесли к озеру. Василий за ними, мы — за Василием. Минуты через три все были на берегу. Я любил смотреть, как ловят рыбу неводом, сердце радостно замирало. Без того я с утра до вечера пропадал на озере, как и все мальчишки, — еды не хватало, рыба спасала от голода. А рыбы в озере было много...

Невод расстелили на берегу, старики принялись спорить, где лучшая тоня, и о Василии забыли. Он не торопясь разулся, прошёл босиком по траве, потряхнул русыми кудрями...

Над озером сиял ясный день. Двое партизан в комяге «заводили» невод. Василий, закатав штаны, ждал их в осоке. Чистая мальчишечья радость светилась на его лице. Да он и был мальчишкой: бронебойщику шёл двадцатый год.

— Тянут! — завопил Проня Пантелеев.

Партизаны, пятась, волокли мокрую верёвку от невода. Вода в заводи словно закипела. Прыгали берестяные поплавки, сверкнул на солнце перепуганный лещ... Показались «крылья», зелёные от водорослей, и на берег лёг живой ворох бьющейся рыбы. Алели брусничные плавники краснопёрок, на глазах светлел линь, полыхали золотом караси. Я увидел щуку — зелёную, усыпанную жёлтыми «копейками», с острыми зубами, с белым брюхом. Щука отчаянно колотила хвостом по земле. Василий поднял её, понёс, как бьющуюся пилу...

Крупную рыбу партизаны укладывали в мешки. Улов был богатый... Наверное, подумал я, хватит всему отряду.

Кто-то притащил котёл, быстро развели костёр, задымила уха. Принесли партизанам браги, ведро парного молока. Василий отказался от браги, пил молоко...

Снова завели невод... Василий цепко перебирал верёвку, что-то кричал, обругал нерасторопного автоматчика... И снова закипела, забурлила вода, заметались белые поплавки.

Неожиданно слышался отрывистый стрекот. Показалось, будто рядом работает косилка. Но стрекот становился всё громче, и над лесом навис зелёный, похожий на огромную стрекозу самолёт. На его крыльях крепко сидел человек. Зло стрекоча, самолёт повернул к озеру. Люди

бросились врассыпную... Перемахнув через какую-то яму, я врезался в заросли ивняка, прижался к холодной земле... Самолёты летали над деревней всё чаще, и хотя не стреляли и не сбрасывали бомбы, было страшно. Сухо затрещало — с самолёта бил пулемёт... Не вытерпев, я поднял голову. Самолёт снижался. На берегу стоял Василий и целился в самолёт из противотанкового ружья. Самолёт круто развернулся. Ружьё подпрыгнуло, и... стало тихо. Пулемёт замолчал.

«Попал, заклинило», — догадался я.

Самолёт перешёл в пики, снова взмыл. Из кабины высунулся лётчик, в ярости показал Василию чёрный кожаный кулак... В ту же секунду застучали автоматы, снова грохнуло ружьё Василия. Самолёт шарахнулся, как испуганный конь. Пошёл ввысь, круто набирая высоту. Нырнул вниз, и тут же над соснами сверкнул огонь, грохнуло, густо повалил чёрный дым.

— Подбил! Подбил! — закричали мальчишки.

Василий рукавом вытер со лба пот, прислонил ружьё к изгороди. В траве желтели гильзы — длинные, с тяжёлым донцем.

Я подошёл к ружью, потрогал ствол. Он был горячим...

Бойцы весело обнимали Василия. Со всех сторон бежали люди.

— Самолёт сбил! Самолёт!

Просто не верилось в такое чудо. А бронебойщик как ни в чём не бывало спустился под берег, потащил невод. И снова лёг на берег живой серебряный ворох рыбы. Василий легко поднял два мешка, отнёс к телеге...

Раздав половину улова, партизаны уехали.

Я с мальчишками отправился в лес. На мшарине лежали обломки самолёта, в огромной воронке стояла бурая торфяная вода.

ЗОЛОТАЯ ПОЛЯНА



По утрам мальчишки убегали на озеро. На опушке змеились траншеи, темнели провалы окопов. Короткими сапёрными лопатками мы разгребали песок, собирали патроны. В то утро Серёга нашёл гранату — тяжёлую, зелёную, с короткой ручкой из жести. Такие гранаты я видывал у партизан. Не дыша Серёга смотрел на находку. Мальчишки окружили его плотным кольцом, наперебой давали советы. Осмелев, Серёга крутанул ручку. Громко щёлкнуло...

Я рванулся к братишке, выхватил гранату, метнулся к лесу, но вдруг оступился, упал в траву... Ослепило, толкнуло в грудь, обожгло лицо. Когда я открыл глаза, всё вокруг было красным: ёлки, песок, небо, трава. Крича, мальчишки бежали к деревне. Рядом со мной присел Серёга, от страха у него был открыт рот.

Я встал. Правая нога подгибалась, идти было больно. Руки горели огнём, на траву ручейками сбегала кровь...

Смутно, словно во сне, я увидел мать. Дед Иван Фигурёнок вёл в поводу коня, запряжённого в дроги. На дрогах лежала солома — целая копна снопов.



В руках у матери запрыгала склянка с йодом. Я поднял руки. Жмурясь от боли, смотрел, как льётся йод. Сорвав с головы красный платок, мать разорвала его на полосы, наспех запеленала мне кисти. Потом меня положили на солому.

Дроги застучали на нырках и выбоинах. Я лежал не шевелясь. Вокруг было небо — красное, заревое.

Вдруг подумал: что будет с руками? Пальцы не слушались, — может, останутся такими навсегда? Я даже представить не мог, как это можно жить без рук. Вспомнил вдруг отца. У него руки творили чудеса; отец удивительно быстро мог связать сеть, ловко работал топором, одной рукой легко подхватывал шестипудовый мешок...

Попробовал пошевелить пальцами — от боли потемнело в глазах.

— Потерпи... — шёпотом сказала мать. — Скоро будем на месте...

Ехали долго. Мне становилось всё хуже, я тяжело дышал... Увидел вдруг, что меня несут на руках. В большой избе тесно стояли кровати. На них лежали раненые партизаны. Забинтованные головы, руки, ноги в лубках. Пахло больницей. Я испугался этого запаха... Мне вытерли марлей лицо, всё вокруг стало разноцветным. Рядом лежал парень с забинтованным подбородком. У парня были густые, как луговая трава, тёмные волосы.

На подоконнике стояла алюминиевая кружка.

— Пить, — попросил я торопливо.

Парень протянул кружку матери. Она долго поила меня. Потом я лёг вниз лицом, положил руки на подушку. Подушка стала красной. Мать принесла другую... Вошла девушка в белом халате, что-то сказала. Мать взяла меня на руки, понесла, словно маленького...

В горнице с белой печкой стоял стол, покрытый огром-

ным куском парашютного шёлка, сверкали какие-то инструменты. Меня окружили люди — все в белом, как снеговики. Самый высокий смотрел на меня хмурыми глазами.

— Ну, хлопец, крепко тебе повезло.

В руках у высокого сверкнуло что-то узкое, тонкое.

— Петь умеешь? Тогда спой любимую песню.

У меня не было любимой песни, но отец часто пел про военный корабль, про погибающего кочегара. Я запел из последних сил. Мелькали в руках у высокого какие-то инструменты. Было так больно, что я пел и кричал...

Очнулся...

Мать держала в руках высокую, разукрашенную цветами кружку. Хотелось пить. Тёмная жидкость горчила, навевала сон. Мать склонилась надо мной, горячо зашептала:

— За синими лесами лежит золотая поляна. На золотой поляне стоит белая берёза. На белой берёзе свила гнездо сизая горlinkа. А на чёрной елине сидят чёрные вороны. Никого они не боятся, только ясна сокола и бела кречета... Белый кречет летит, перья роняет...

Когда я снова открыл глаза, матери рядом не было. Пришёл высокий. Я его узнал по глазам. Хирург был в сулконной гимнастёрке, на поясе у него висел чёрный парабеллум.

— Ты что же это, гусь лапчатый, людям спать не даёшь?

Глаза у хирурга были усталые, не сердитые.

Принесли завтрак: полкотелка молочного супа и кусок чёрного хлеба. Привстал, зажал котелок между лубками, долго пил. Хлеб съел быстро. Подошла медсестра с ложкой, взглянула на пустой котелок. Налила в ложку из фляги рыбьего жира. Я прежде ненавидел рыбий жир,

но теперь проглотил его не моргнув. Я знал: рыбий жир привезли из тыла на самолёте вместе с оружием и взрывчаткой.

Пришла мать, положила на кровать яблоко, поставила кружку с сотовым мёдом:

— Пантелеевы прислали... Все про тебя спрашивают. Шла лесом, страшно... Волки появились.

Снова вокруг стояли люди в белом. Говорили про какой-то осколок. Потом было нестерпимо больно. И снова пил бурый отвар, снова рядом сидела мать. Она опять говорила про золотую поляну... Я кричал, кусая губы.

Стало легче. Утром я уже сидел, прислонясь к поставленной на попа подушке. Мать прикорнула на табурете, тихо дремала. В коридоре громко застучали сапоги, распахнулась дверь. Несли раненых. Сначала внесли старика в рыжем полушубке. Ноги его были замотаны обрывками пегой плащ-палатки. Ввели под руки мальчишку-партизана в шапке с жестяной звёздочкой и в зелёном ватнике. На самодельных носилках пластом лежал старик в рваной трофейной шинели без погон.

Раненых стало столько, что не хватало мест. Те, кто мог сидеть, садились на пол.

Я уснул, но вскоре проснулся. Под голову была положена свёрнутая телогрейка. На низком столике горела трофейная плошка. Рядом сидела мать.

— Лежи, лежи... Всё хорошо... Всё хорошо.

Потом мать ушла, остался один. Тупо ныли руки, болело облепленное пластырем лицо. Лежал в забытьи. Понесли на перевязку. Было больно, но не так, как прежде. Когда сняли бинты, закрыл глаза...

Новые повязки были куда меньше прежних, и — чудо! — торчали совершенно целые пальцы левой руки... Рядом лежал незнакомый раненый. Он был такого роста,

что ноги в вязаных носках из серой шерсти виднелись из-под одеяла. Поверх одеяла лежали тяжёлые руки. Партизан смотрел на меня и улыбался. Взглядом показал на свои руки. Я ничего не понимал. Но вдруг пальцы незнакомца превратились в прыгающего зайца с длинными ушами. Проковыляла по одеялу неторопливая собака, смешной походкой пробежал охотник с ружьём на весу...

— Сказки любишь? — спросил партизан негромким голосом, улыбнулся плутовато. — Так слушай... Жил-был заяц. Богатый был: сколько холмов — столько домов...

— Расскажите про войну, — попросил я.

— Про войну? — Партизан покачал головой. — Это, брат, невесёлый рассказ... Подстрелили меня... В грудь. Пуля крупнокалиберная.

— Бой был большой?

— Да нет, мост на большаке рвали... В армии я был сапёром... К партизанам попал, когда выходили из окружения...

Раненому было трудно говорить — передохнул, помолчал.

— Взрывчатку достали запросто, на минном поле... Четыреста немецких противотанковых мин... Железную дорогу рвали, мосты, даже тяжёлый танк подбили... А тут не повезло. Подошли транспортёры...

Раненый замолк надолго. Лицо его потемнело. Дышал хрипло: казалось, работают кузнечные мехи... Мне стало стыдно за свои недавние страхи: ничего с моими руками не будет, останутся целыми.

Я не заметил, как задремал. Разбудила тишина. Было за полночь.

Сел, огляделся. Раненые спали. Попробовал встать на пол — получилось. Прошёл, опираясь плечом о стену, до самого порога. Вернулся. С трудом отдышался... Руки за-

ныли. Из-под съехавших набок бинтов выбивался клочок ваты. Не раздумывая, поднёс его к огоньку коптилки — пусть отгорит. Вата вспыхнула, как сухая солома. Стало нестерпимо светло. От страха я закричал, заметался, натываясь на раненых. Оступился, чуть не упал...

Ничего не понимая, вскакивали партизаны. Я увидел того, кто рассказывал сказку. Закусив губы, он поднимался с постели. Сорвал одеяло, накинул мне на руки, сжал. От боли потемнело в глазах...

Хирург долго и осторожно разрезал обгоревшие бинты, снимал чёрную вату. Чтобы не смотреть на раны и ожоги, я закрыл глаза. Так, с закрытыми глазами, меня и отнесли обратно...

Чуть свет пришла мать, долго говорила с хирургом. Теперь я знал, как его зовут — Александр Павлович.

— Что же ты натворил? — Голос матери был горьким. Она словно нехотя смотрела на меня.

— Ничего... Я только хотел вату...

— А человеку — такие муки. Целую ночь с ним возились. Только что увезли. Будут самолёт вызывать. Здесь его не спасёшь...

— Кого увезли? Зачем? — И только теперь я заметил, что постель раненого, который рассказывал про зайца, пуста. Будто морозным ветром обожгло лицо...

— Ты думал, руки-ноги не забинтованы, голова цела, так и рана пустяковая? У него пуля в спине разорвалась, крупнокалиберная, сейчас Александр Павлович сказал...

Мать помолчала, потом положила на одеяло трофейную губную гармошку — серебристую, в морозных узорах.

— Вот, это тебе... От соседа... Оставил на память... И когда ты у меня взрослым станешь? Говорят, как я ушла, так и скис... Нехорошо. Ты же у меня мальчишка...

Я лежал притихший, потерянный... Раньше казалось,

что я уже стал взрослым. Теперь было стыдно глядеть в глаза матери, раненым, хирургу...

Через две недели меня выписали. Мать пришла, как всегда, на тёмной заре.

— Вот и всё... Поедем домой. На перевязку будем приходить.

Мать раздала раненым яблоки, отдала мёд, надела мне на ноги чёсанные валенки, закутала в тулуп, подняла, как маленького, на руки... На белом снегу стояли широкие, оплетённые ивой сани. В санях сидел дед Иван. Взглянул на меня, прищурился...

Сани вылетели на просеку. Сухой снег шипел под широкими полозьями, рысью шёл белогривый буланый мерин. Мелькали ёлки, пни. Из чащи дышала морозом темнота. Впереди ярко синели сосновые леса — те, что кольцом окружили нашу деревню.

Золотая поляна, о которой рассказывала мать, была там, совсем недалеко...

НОЧНЫЕ КОСТРЫ



В леса вернулась тишина: нигде не стреляли, не слышно стало и взрывов. В чаще пересвистывались рябчики, шелестела хвоя, пощёлкивал дятел. Но тревога не проходила. Что, если снова нагрянут фашисты?..

И вдруг приехали партизаны. В сумерках из лесу выкатился санный обоз. Подводчики вели коней под уздцы: в санях под одеялами и овчинами лежали раненые. Впереди обоза двигалась верховая разведка, позади — боевое охранение: человек двадцать с карабинами, автоматами и трофейным пулемётом.

Обоз остановился посреди деревни. Часть раненых разместили в нашем доме. Всю горницу завалили снопами соломы, а поверх снопов расстелили шёлковый парашютный купол.

Раненых положили так, что они утонули в соломе, будто в сугробе. Кто-то громко стонал, кто-то скрипел зубами; на бинтах проступали багровые пятна. Пахло йодом и ещё каким-то лекарством.

Хлопнула дверь, и в морозном облаке появился партизан в голубоватой шинели и в папахе, как грачиное гнездо.



На груди трёхцветный сигнальный фонарик, ремни крест-накрест, на поясе два пистолета. Серые, фабричной работы валенки, овчинные рукавицы на парашютной стропе. Я догадался: командир отряда.

Громко застонал партизан с забинтованной головой. Мать быстро поправила ему повязку. Молодой паренёк попросил пить, она подала ему кружку брусничного чая. Встрепенулся пожилой мужчина, сел, прижав к груди запелёнатые бинтами руки:

— Коробка с табаком. В правом кармане.

Мать расстегнула на раненом ватник, достала из кармана гимнастёрки пёструю берестяную табакерку. Подцепила ногтем крышку — и в доме вкусно пахло табаком. Раненый понюхал, зажмурился от удовольствия.

— Нам бы такую санитарку... — Командир посмотрел на мать и тяжело вздохнул.

— А что, и пошла бы! Этих вот ухарцев некуда деть... — Мать показала на нас с Серёгой.

— Тяжело с ними?

— Тяжеленько.

— А что, если отправить их в тыл?

— Нельзя, как же им там одним? Будто сироты какие...

— Неправда, — нахмурился командир. — Мы уже столько ребят переправили через фронт. Живут в детских домах, ходят в школы. А вместе с Красной Армией вернутся домой. Ждать осталось недолго.

Мы с Серёгой лежали молча, прислушиваясь к разговору.

— А может, и вправду отпустить? — помолчав, раздумчиво сказала мать. — Тяжело будет без них, а с ними ещё тяжелее. Война кругом, долго ли до большой беды...

— Правильно, хозяйка, — вступил в разговор один из раненых. — Им не голодать надо, а расти. Самый возраст, чтобы расти.

— Что ж... Согласна. А ну, парни, собирайтесь!

— Далеко ехать-то? — осведомился Серёга.

— Нет, не очень. Километров двести. — Командир отвечал серьёзно и неторопливо.

— А вернёмся когда?

— Скоро... Очень скоро...

— И года не пройдёт! — улыбнулся раненый.

Дверь шумно открылась, на пороге вырос облепленный снегом автоматчик, подал командиру полоску бумаги...

Вошли ещё четверо партизан, и всё вокруг пришло в движение.

Появились откуда-то самодельные носилки, командир что-то отрывисто приказал.

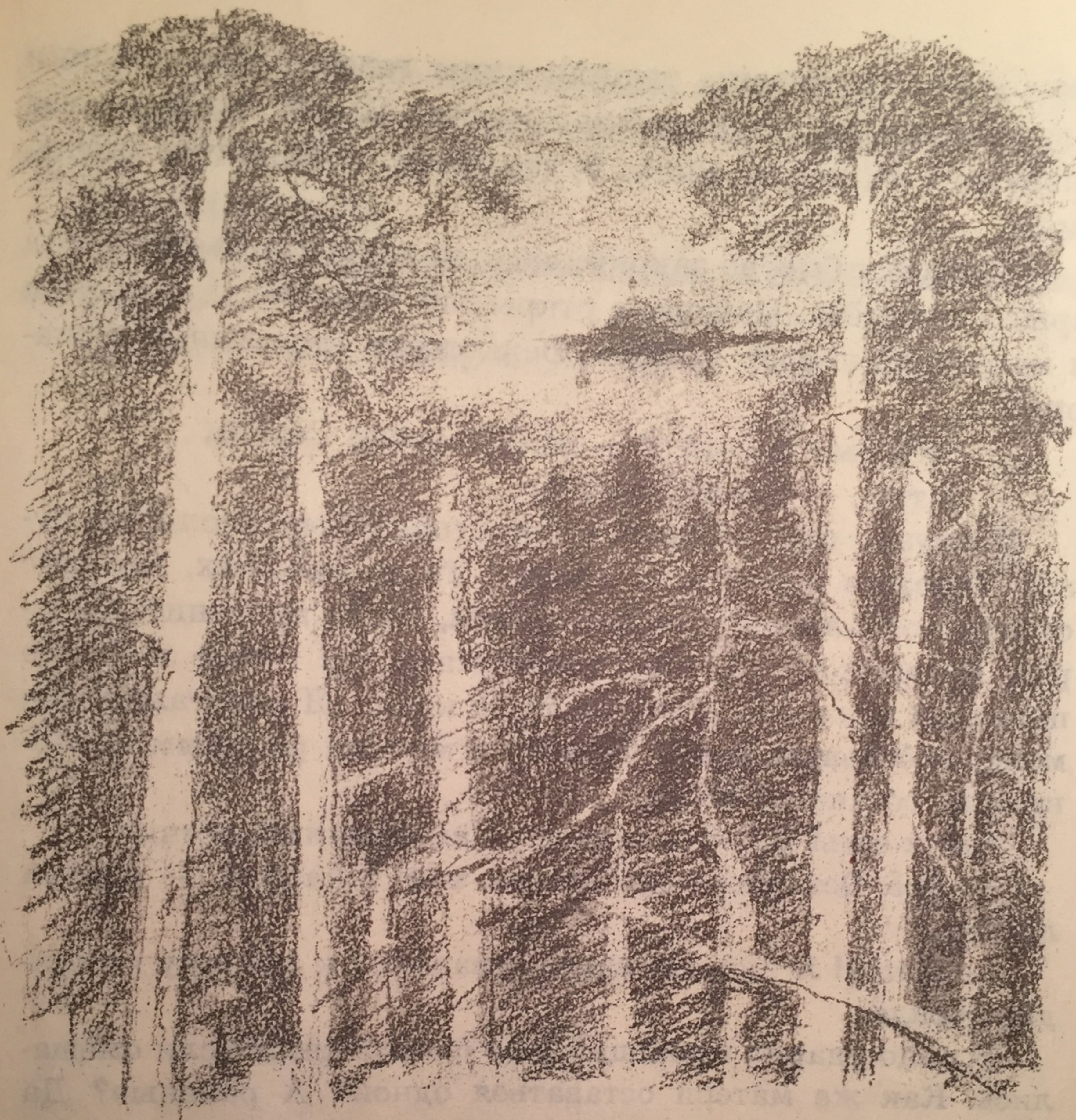
Мать торопливо одела Серёгу, я кое-как оделся сам. За окном скрипели полозья, слышалось ржание лошадей.

Нас с Серёгой усадили в широкие розвальни, рядом положили четверых раненых, укутали серым суконным одеялом...

Обоз стронулся с места, двинулся в сторону озера. Мать шла рядом с подводчиком, куталась в тёмный платок. От мороза у меня сразу заныли зубы, ветер леденил щёки. Чёрною тучей нахлынул лес. Серёга прижался ко мне, испуганно вздрагивая. Тупо стучали подковы, кони тревожно всхрапывали.

Вдруг стало светло: на озере вспыхнули костры. Залитые светом, сугробы рдели, как заросли цветущей смолянки. Клубясь, катился оранжевый дым.

— Звёздочка! Звёздочка! Звёздочка! — оживился Серёга.



Вверху над лесом плыла звезда — большая, зелёная, как яблоко. Загрохотало, пахнуло ветром, и над озером навис огромный самолёт. На крыльях его горели сигнальные огни.

Костры вспыхнули ещё ярче. Самолёт пронёсся над обозом и, будто сани с крутой горы, накатился на озеро, поднял облако снега.

Обоз спустился под берег. У самолёта уже вовсю шла

разгрузка: партизаны тащили кипы газет, еловые ящики с оружием, какие-то коробки и мешки. Пахло газетами. Из разбитого ящика по снегу, будто мячи, покатались апельсины.

Разгрузка быстро закончилась, подводы подъехали под крыло самолёта. Наверх, в открытый люк, подали тулупы и несколько снопов соломы. Вспыхнули карманные фонарики.

— Он в тыл полетит? — тихо спросил Серёга.

— В тыл, — ответила мать.

Погрузка шла медленно, тяжелораненых несли на руках, бережно передавали наверх. Те из раненых, кто мог стоять, топтались в стороне, ждали, когда наступит их черёд. К самолёту, скрипя, подъезжали всё новые и новые подводы; казалось, обозу не будет конца. Я испугался: самолёт небольшой, нам с Серёгой и многим раненым наверняка не останется места.

Так и есть! На снег прыгнул высоченный лётчик.

— Всё. Осталось одно место... там, в кабине, — сказал лётчик.

— Детей! Я приказываю! — рванул к лётчику командир отряда.

В лицо ударил слепящий свет фонарика. Мысли смешались. Как же матери оставаться одной? А раненые? Да ведь мы с Серёгой почти уже взрослые. Отец всегда называл нас мужиками.

Я посмотрел на мать. Она по-прежнему куталась в платок. Оглянулся на деревню: сад, за садом наш дом и сарай...

— Бежим! — толкнул я братишку.

Снова вспыхнул командирский фонарик. Серёга заслонился рукой от света, шагнул к самолёту и, не раздумывая, нырнул под него. Я перепрыгнул через сани, вырвался

у кого-то из рук, побежал что было мочи. Серёга был уже возле самого берега. Я схватил его за руку, втащил на кручу.

Костры погасли.

Взревели моторы, ударило ветром, и над ёлками снова повис самолёт.

— Ух, улетел! — выдохнул Серёга.

КЛАД



Стало совсем плохо с продовольствием. Хлеба почти не было, картошку берегли для посадки. На озере с утра до вечера морозились рыболовы. За крючок отдавали котелок картошки. Петлями из тонкой проволоки ловили зайцев, в лесу ставили силки на рябчиков, собирали мёрзлую рябину для пирогов. Мать выкопала в сугробе глубокую яму, положила над ямой крест-накрест две хворостинки, застелила их соломой, засыпала снегом. Для приманки положила морковку. Чуть свет мы спешили к западне. Сердце каждый раз замирало от волнения, но морковка оставалась нетронутой. Белякам хватало нежной яблоневого коры...

В тот день мать куда-то ушла и долго не возвращалась. Мы с Серёгой, не дождавшись её, поставили самовар. Огонь не разгорался. Я снял трубу, надел на самовар старый сапог. Получилось похоже на кузнечные мехи. Я налёг грудью на подошву, сапог зафыркал, будто тетерев, — и в самоваре загудело. А вскоре над самоваром и пар закрутился. Кипяток заварили сушёным брусничным листом, достали из сундука по сухарю, луковицу и холстинку



с солью. Соль была грубого помола. Луковицу разрезали на три части, сухари размочили, посыпали солью. Пили не спеша, закусывая то луком, то сухарём.

— Чаёвничаете?

На пороге стояла мать. В руках скатанный мешок из брезента. Рядом с матерью Матрёна Огурцова, в мужском полушубке, в больших валенках. Под мышкой у неё торчала обёрнутая холстиной пила.

— Мам, куда? — встрепнулся Серёга.

— В лес. Клад искать!

Я верил в клады. Давно, ещё совсем маленьким, я слышал от кузнеца, что если найдёшь белый камень и на нём выбита подкова, то наверняка рядом зарыто золото. В земле лежит много добра. Когда идёт война, люди прячут от врага всё, что могут.

— Пойдёшь? — Мать взглянула на меня.

Я быстро оделся. Серёгу отвели к Пантелеевым. Матрёна выкатила из сарая салазки... Напрямик, тоненькой тропкой двинулись к лесу и вскоре уже были на просеке.

Лес, весь в снегу, в индеви, казался сказочным дворцом. С берёзы на берёзу перелетали тетерева: чёрные крылья отливали на солнце то зелёным, то красным. Идти было тяжело. Мать пробивалась первой, тащила салазки. От быстрого хода стало жарко, в валенки набивался снег. Шли долго, я устал. Немного передохнули, присев на кучу грачевника. Потом вышли к ручью, на крепкий слоистый лёд.

Мать прибавила шаг, и мы с Матрёной едва поспевали за ней.

Ручей вывел к болоту. Я чуть не вывернул ноги среди горелых пней, кочек и коряг. С треском взлетела стая болотных куронок, перебежал дорогу енок... За болотом лес стал гуще и темнее, стали попадаться волчьи следы.

Вышли на большую круглую поляну. Посреди поляны стояла высокая шатровая ель.

— Вроде бы здесь... — сказала мать. — Смотри лучше.

— Мам, а что смотреть? — спросил я шёпотом.

— Гляди на деревья. Как увидишь дымок, зови...

Двинулись краем поляны. Я изо всех сил задира́л голову, во все глаза смотрела Матрёна. Снег... Иней... Ветки... Еловая хвоя... Глаза устали, хвоя заклубилась, будто дым.

— Нашла! Нашла! — закричала мать.

Улыбаясь, смеясь, она показала на вершину старой сухостойной осины. Осина была кривобокая, исколотая, острым клювом дятла. Из чёрного дупла тоненькой струйкой выбивался пар. Верхние ветки осины были окованы коркой мутного льда.

Мать подбежала к осине, принялась утаптывать снег. Мне показалось, что она пляшет. Матрёна вырубил жердь, подала матери топор.

Мать приказала мне отойти подальше, подрубила осину, подпёрла жердью нижний сук. Матрёна размотала пилу, и вместе с матерью они начали пилить. Пила зашипела по-змеиному, брызнули опилки, снег возле осины стал жёлтым...

Послышался лёгкий треск. Матрёна с пилой метнулась в сторону, а мать что есть силы налегла на жердь, и осина накренилась, рухнула на соседние деревья, с шумом их подмяла под себя. Поднялось облако снежной пыли.

Я подбежал к осине. Сквозь треснувшую кору густо валил пар. Мать концом жерди раскроила заболонь. Слепя, вспыхнули золотые слитки.

— А ты не верила! — Мать счастливо глядела на Матрёну.

В дупле лежали янтарные соты. Это был мёд диких лесных пчёл. Пчёлы слабо шевелили крыльями, сбившись в большой живой шар... Мать развернула брезентовый мешок. Я не верил глазам. Сейчас, в конце зимы, мёд наверняка был дороже золота. Мы нашли настоящий клад.

Обратный путь прошли легко и быстро, хотя уже стемнело и салазки с тяжёлым грузом вязли в сугробах. Хотелось есть, но никто не притронулся к сотам. От медового духа кружилась голова.

Мёд привезли в деревню. Новость мигом облетела все избы, и каждому захотелось увидеть чудо своими глазами. Все собрались в нашем доме — и Павлушины, и Огурцовы, и Пантелеевы, и Порошины, и Фигурёнковы. Принесли медный старинный безмен. Все улыбались, шумели, будто на празднике.

Половину мёда разделили на жителей деревни, половину отложили для партизан.

Вечером мы с Серёгой снова пили чай. Братишка завладел самой большой кружкой. Сначала он выпил кипяток, потом разгрыз половину сухаря и только тогда принялся за мёд.

— Мам, — спросил я, — а ты знала про этих пчёл?

— Нет, — улыбнулась мать. — Просто вспомнила про ту поляну. Весной там черёмухи цветут. Белые-белые стоят... А пчёлы так и летят, будто золотые провода протянуты...

— Хорошо, что вспомнила! — рассудил Серёга.

ГОРЯЧИЕ ГИЛЬЗЫ



Вторая военная зима выдалась сухой, морозной. И всё время где-нибудь стреляли. Каратели из всех сил старались пробиться в глубину края. Чаще всего бои шли на большаке.

И вдруг пулемёты застучали рядом с нашей деревней, на берегу озера. Мать заметалась по горнице, мы с Серёгой быстро оделись.

Выбежали во двор. Ни партизан, ни карателей видно не было, но пули так и свистели. Серёга упал, мать подхватила его, понесла на руках. Люди бежали к старому омшанику, срубленному из толстенных сосновых брёвен. Бежать в лес было нельзя: там стреляли.

Я чуть приотстал...

— Быстрей, идол! — не своим голосом закричала мать.

В хлевах ревели перепуганные коровы.

Вбежали в темноту. В омшанике было тесно, душно. Люди лежали на прелой, пахнущей навозом соломе...

Бой то приближался, то отдалялся. Я закрыл глаза и, словно наяву, увидел снежное поле. Вокруг была колючая



провода. Я рвал её, но провода становилось всё больше: она висела на лапах ёлок, на осиновых кольях, пряталась в снегу, извивалась кольцами.

Протёр глаза. Увидел мать, Серёгу...

По соломенной крыше омшаника хлестнуло очередью, посыпалась сверху труха. Стукнула в стену шальная пуля. Долетел чей-то отчаянный крик.

— Кто это, мам? — спросил Серёга.

— Наверное, раненый...

Страх не проходил, в груди громко стучало. Плохо, что нет рядом отца. С ним было бы не так страшно. Ростом отец был невысок, особой силой не отличался, но когда я стоял рядом с ним, то чувствовал себя будто за каменной стеной. Как-то летом сорвался с привязи огромный бык, загнал на стог пастуха, перепугал баб, опрокинул воз с сеном. Отец шёл по улице, когда бык вылетел из-за угла. Отец попятился, побежал к конюшне, схватил огромную корзину, в каких носят сено, изловчился и набросил корзину на голову быку. Бык взревел, завертелся, но вскоре притих...

Подбежал пастух, сбросил корзину наземь, взял быка за кольцо и спокойно увёл.

«А я — храбрый?» — мелькнуло вдруг у меня в голове.

Этого я не знал. Вспомнил вдруг, как совсем маленьким убегал от шипящего гусака, от страха упал в яму и весь перепачкался в глине. А когда укусила собака, было так страшно, что хотел закричать, но не смог: пересохло в горле.

Вспоминать про такое не хотелось. Снова прижался к матери.

Стреляли совсем рядом. Изю всей силы грохнуло, омшаник покачнулся. Около самой стены резко застрекотал

автомат. Грохнуло снова, запахло угаром. Люди зашевелились, заревел кто-то из мальчишек.

Пуля пробила крышу, ударила по слеге. Грохнуло ещё громче, сруб так и заходил ходуном...

Треск выстрелов то приближался, то отдалялся. Наконец бой откатился на озеро. Мать, осмелев, приоткрыла дверь.

Около самого омшаника лежала невзорвавшаяся граната без кольца, чернела чья-то баранья папаха. Из сугроба торчала миномётная труба, похожая на самоварную. Тут же валялись хвостатые мины. Снег был истолчён, перепахан, перемешан с землёй из воронок.

Ближе к берегу, раскинув руки, лежал раненый партизан. Мать переметнулась через порог, поползла по серому снегу. Я бросился за матерью. Она подхватила раненого на руки, понесла, сгибаясь под тяжестью. Это был высокий парень в белом халате и ушанке с кумачной полосой. Под ёлками корчился от боли ещё один раненый, совсем мальчишка. Он плакал, громко стонал. Мать вернулась, подняла его, поволокла к омшанику.

Я огляделся. Со стоном пролетела над ёлками чёрная мина. В чаще столбом поднялся дым.

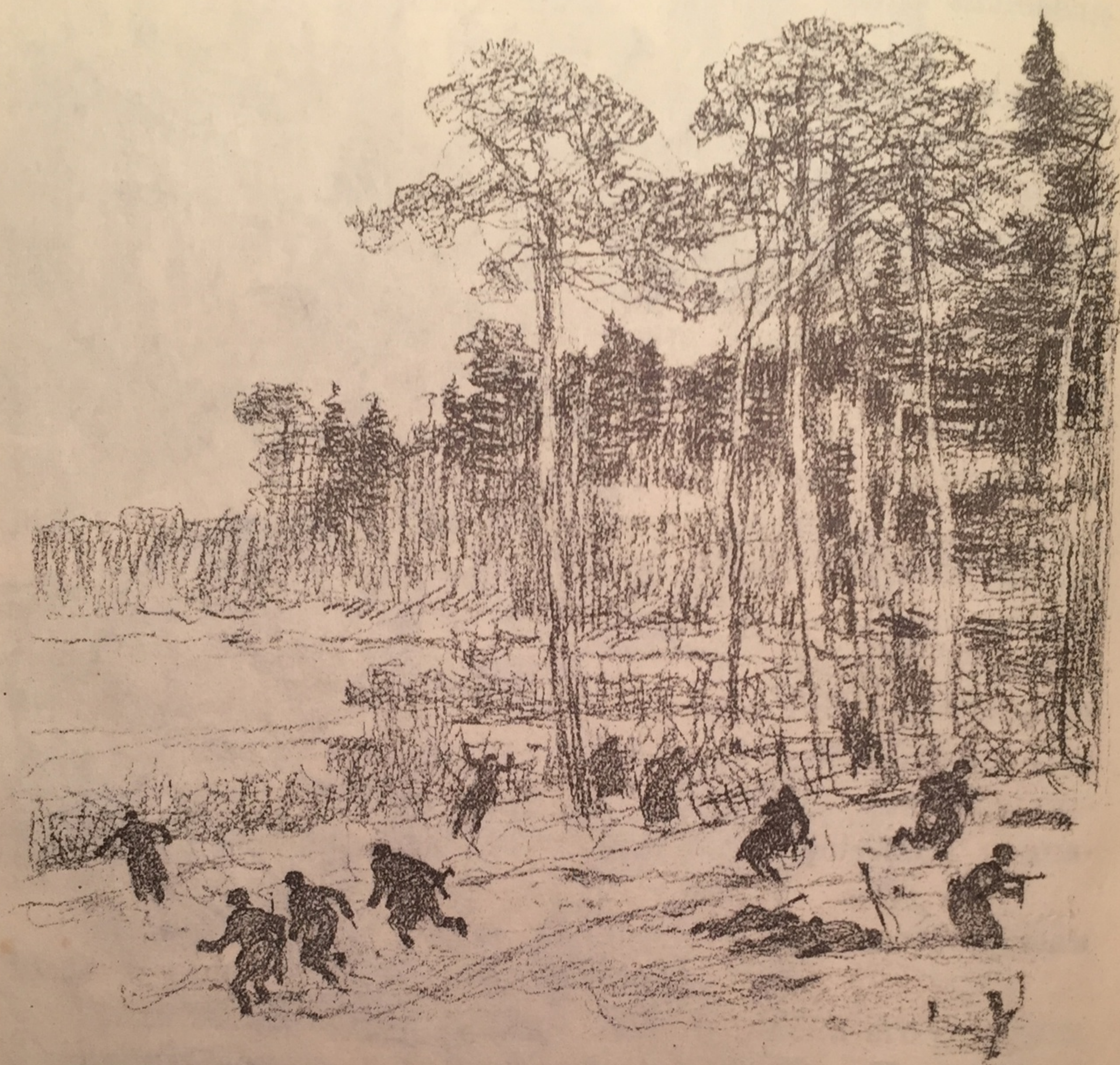
Среди кочек лежал убитый фашист, каска его отлетела в сторону, волосы перемешались со снегом... И рядом — другой, лицом в сугроб, руки размётаны, будто спит.

В сугробе увязли коробки с пулемётными лентами — два зелёных ящика величиной с подушку.

Стало страшно: вдруг у партизан кончились патроны? Я поднял тяжёлый зелёный ящик, вцепился в брезентовую лямку, поволок ящик по снегу. Выбрался на просеку, на крепкую санную дорогу. Ящик, казалось, становится всё тяжелее. Я выбился из сил, лёг на снег, отдышался. И снова пополз по узкой тёмной просеке.



Я лёг на снег, отдышался.



Открылась поляна. Среди пней, под ёлками лежали партизаны. За кустами мелькали шинели фашистов. По снегу, рядом со мной, хлестнуло очередью. Лёг, вжался в сугроб, выдвинул ящик вперёд, пополз, толкая его перед собою, будто салазки. Полз, боясь поднять голову. Однажды с мальчишками я плыл через озеро и с тех пор знал: нельзя смотреть с воды на берег, к которому плывёшь. Покажется, что он далеко-далеко...

Пули проносились совсем рядом — со змеиным шипе-



нием бороздили снег, отрывисто щёлкали по сырой еловой коре. Остановиться, повернуть назад? Нет, нельзя. Если у партизан не хватит патронов — конец всем: фашисты не пощадят никого, запрут в омшанике и сожгут... Вжимаясь в снег, выполз на опушку. Пули ложились уже совсем рядом. Уткнулся в сугроб, замер. Всё. Понял, что не могу сделать даже шага. Трус. Просто трус. Скорее назад, к ёлкам, в самую чащу... Трус!

И вдруг нахлынула ясная, холодная ярость.

Приподнялся на локтях, изо всей силы толкнул коробку. Над головой, казалось, стонут от бешеного ветра провода... Очередь. Ещё очередь. Мимо! Нет, мы ещё посмотрим, кто кого!

Пополз быстро, как только мог.

Ящик упёрся во что-то твёрдое. Поднял голову, посмотрел. Это были валенки — белые, в самодельных галошах из оранжевой резины. За корявым валуном лежал Митька Огурцов. Он бил из пулемёта, выкрашенного в белую краску. В кожухе пулемёта булькало, будто в горячем самоваре.

— Вовремя! — крикнул Митька.

Он подтянул ящик, быстро выволок из него длинную, с золотистыми патронами ленту.

Фашисты бежали по поляне. Первым нёсся высоченный детина с чёрным автоматом. Фашистов было много, поляна стала зелёной.

Митька прицелился, я подхватил ленту. Загрохотало, лента запрыгала, фашисты попятились к озеру; кисло запахло сгоревшим порохом.

— А-а-а!!! — раскатилось вдруг по лесу.

Это по просеке торопились партизаны. Значит, подоспела подмога.

Пулемёт бил без остановки, лицо Митьки потемнело от пороховой гари.

Фашисты врассыпную бежали по озеру, бросали в снег карабины и автоматы.

Наконец пулемёт замолчал: кончились патроны. Рядом дымилась россыпь золотых гильз. Шипя, они втаивали в снег.

Я взял несколько штук, отогрел заоченевшие руки. Гильзы были горячие-горячие. Пахло кузницей.

В деревню я вернулся вместе с партизанами. Митька



В деревню я вернулся вместе с партизанами.

тащил пулемёт, я нёс через плечо пустой ящик из-под патронов.

На поясе у меня покачивалась трофейная граната — синяя, величиной с гусиное яйцо.

На меня, будто на героя, смотрели все односельчане — и мальчишки, и девчонки, и мать, и даже старый-престарый дед Иван Фигурёнок. Шёл я не спеша, стараясь не смотреть по сторонам.

ПЕЧКА



Каждое утро мать жарко топила печь, но холода стояли такие, что к вечеру изба выстывала, окна затягивались слоистой наледью, а по углам белел иней. Вечером мать приносила охапку хвороста, щепала лучину, и мы с Серёгой нетерпеливо ждали, когда же наконец в печке снова заплещет огонь. Спичек не было, но в золе прятались тлеющие угольки. Мать бросала в печку пучок льняной кудели и что есть силы принималась дуть... Кудель и хворост вспыхивали будто порох, печь громко гудела, по стенам плясали кумачные отсветы...

Поужинав, мы с Серёгой забирались на печку и блаженствовали в летнем зное. Раздеваясь, снимали и ставили на горячий припечек отсыревшие за день валенки с кусочками льда в колючем войлоке.

Однажды на тёмной заре я проснулся от тишины. Тишина стояла такая, что звенело в ушах.

И вдруг загрохотало: казалось, бьют молотом по железной бочке. С треском раскололось стекло. Мать схватила в охапку Серёгу, прикрикнула на меня. Я долго не мог одеться, от страха заныли зубы.



Снова загрохотало, по стене защёлкали осколки.

Я выбежал на крыльцо и чуть не оглох от моторного рёва. Почти задевая колёсами за крыши домов, над деревней шли огромные самолёты. На крыльях их были чёрные с жёлтыми обводами кресты.

Головной самолёт круто развернулся, на брюхе его открылся люк, и на деревню, будто картошка из мешка, посыпались короткие тёмные бомбы. Это были зажигалки. Упав, они вспыхивали нестерпимо ярким светом, кувыркались, брызжа огнём... Били пулемёты — длинные очереди вспарывали снег.

Люди — вся наша деревня — бежали к лесу, волокли мешки, сети, узлы. Слабые вязли в снегу, барахтались, кричали.

Мать бросилась к хлеву, выпустила Чернуху. Целое стадо коров и телят металось между построек. Горело уже три дома. Крыши тонули в слоистом дыму. Самолёты шли кругами, опускались почти до самой земли. Казалось, ещё немного — и понесутся по сугробам, как невиданные сани. На крыльце вспыхнула зажигалка, другая, растопив снег, полыхала на соломенной крыше.

Мы бежали сквозь огонь.

Белые огненные шары затопили всё вокруг. Казалось, горят даже сугробы.

Мать, подхватив одной рукой Серёгу, другой изо всех сил тащила на верёвке одуревшую от страха корову.

Я бежал что было мочи. В валенки набился снег, но вытряхивать его было некогда.

Ёлки были уже рядом. Оступился, упал, пополз, с трудом поднялся. Нырнул в самую мшару. Бежал, закрыв лицо руками... Оглянулся: мать и Серёга бежали следом. Снег в лесу был изрыт. Валялась возле пня оброненная кем-то овчинная рукавица, кто-то бросил узел с вещами.

Хоронясь под нависью еловых лап, люди бежали в глубину леса. Рёв самолётов не смолкал, над деревней горой стоял дым...

Лес становился всё глуше и темнее. Люди совсем выбились из сил, но никто не пытался передохнуть.

Наконец остановились. Мать привязала корову к берёзе, усадила нас с Серёгой на кучу хвороста.

Мороз становился всё крепче, но разводить костры было нельзя: фашисты могли увидеть дым. Мать разгребла груды хвороста, докопалась почти до самой земли. Запах до гнилыми листьями, повеяло теплом.

Мать сняла шерстяной платок, укутала им корову, а сама осталась в лёгонькой косынке в чёрную горошину.

Мы с Серёгой забрались в вырытую яму, прижались друг к другу. Щекой я чувствовал каждое движение Серёгиных ресниц. Задумался. Мысли были невесёлые. Вспомнил про дом, про печку. Прежде жил и не знал, что печка — это счастье. В ней можно печь хлебы, варить картошку, сушить валенки. На печке так сладко спится. Кирпичи долго хранят тепло, трещит над ухом сверчок, пахнет летом...

Очнулся от холода. Мать отвязывала корову. Выстрелов и рёва моторов слышно не было.

— Домой?

— Домой... Серёгу буди.

Все вместе вышли на опушку. Снег был изрыт воронками, пахло пашней. На месте деревни чернели пожарища. Дымились головни, выбивались языки огня, горели красными пятнами раскалённые угли... Возле пожарищ бродили кошки.

Мы подошли к тому месту, где прежде был наш дом.

Посреди пожарища целая-невредимая стояла печь



с горшком без дна, надетым на трубу. Братишка подошёл к груде углей, протянул к ним заочиненные руки...

Вечером мать разожгла печку. Пока мать подкладывала в топку дрова, Матрёна Огурцова сыпала в котелок картошку. Печка быстро нагрелась. Я посадил Серёгу, забрался сам, прижался к трубе. Прибежали мальчишки, устроились рядом.

— Кто отливала? — спросила у матери Матрёна.

— Печку-то? — Мать прищурилась. — А сама, мастер дорого запросил... Неказисто вышло, зато крепко.

Печь громко гудела, дымила, будто паровоз, дышала летним зноем. И стало тепло. И прошёл страх...

Весной, едва показались первые проталины, на огнище пришли партизаны — целый отряд. И через неделю снова стояла на берегу озера деревня в семь домов. Только стёкол не хватило, и дома были чем-то похожи на землянки...

Я вбежал в горницу и ахнул. Старая печь была как новая. Выбелена извёсткой, изукрашена голубыми цветами.

МОЯ ШКОЛА



На пороге стоял партизан — весь в индеви, в пороше. Он смотрел на меня и на Серёгу. Улыбнулся, сияя белейшими зубами. Весело отдал честь:

— В штаб! К командиру! Мигом!

От радости руки не попадали в рукава. В штаб по пустякам не вызывают: значит, пошлют в разведку. По улице летели сломя голову.

В штабе было тесно: в сборе были все девчонки и мальчишки нашей деревни. За широким столом сидел командир отряда — молодой, ясноглазый, весь в ремнях. Рядом стоял учитель Сергей Сергеевич. Одет он был, как и до войны: чёрная шуба, папаха, чёсанные валенки.

К Сергею Сергеевичу льнул незнакомый мальчишка — цыганёнок. Разбитые валенки, вязаный бабий платок, вместо пальто — немецкий китель с подвёрнутыми рукавами. С узеньких плеч свешивались плетёные погоны, на поясе сияла рыжая кобура. Деревенские ребята были одеты ещё пестрей: старые ватники, кацавейки, материнские полушубки, будёновки, старые заячьи треухи. Обувь — под стать одежде: латанные чёсанки, трофейные лыжные ботинки, еловые колодки, сапоги, поршни...



Командир отряда встал, поправил портупею:

— Все собрались? Все. Очень хорошо! Хватит бездельничать — завтра в школу. В девять ноль-ноль...

Стало тихо, как ночью в лесу. Я ничего не понимал. Школа сгорела... Как же учиться? И вдруг придут фашисты?..

— Учить вас приказано мне! — весело сказал Сергей Сергеевич. — Школа — в лесу, в старой пекарне. Принести учебники, тетради, карандаши... И не опаздывать!

— А у нас заяц есть... — Проня Пантелеев вытащил из-за пазухи зайчонка.

Это был белячок ростом с овчинную рукавицу. Белый, как утренняя пороша, лишь кончики ушей чёрные, будто обгорели на пожаре. Командир взял зайца, ласково погладил...

Гурьбой высыпали на улицу. Шли весело, толкаясь, прыгая по сугробам. Впереди ковылял зайчонок. Он никого не боялся: все дворняги в деревне были перебиты карателями.

Вечером я раньше обычного забрался на печь. Вспомнил про старую школу, что стояла на берегу озера. В классах пахло камышом.

Мальчишки на переменах ловили под корягами раков, прятали в партах. На уроках было слышно, как раки шелестят клешнями...

Мать разбудила чуть свет. Из-за печки вытащили мой старый ранец. Серёга снял с гвоздя сумку из-под противогаза, положил в неё карандаш с наконечником из наганной гильзы и толстую трофейную книгу в кожаном переплёте. Мать выложила на стол два ломтя хлеба, поставила глиняный горшок с кашей. Серёга сунул всё это в сумку...

На улице было морозно. Над лесом стояла брусничная

заря. С ёлки на ёлку перелетали рябчики. Утопая в снегу, к лесу пробивались девчонки и мальчишки...

В пекарне было жарко, дышала зноем огромная печь. Горой лежали сосновые плахи. Столы и скамейки пахли хлебом, пригарью. К стене был прибит лист чёрной жести. На подоконнике лежал кусок плотницкого мела. На учительском столике — старинный, работы деревенского кузнеца, свадебный бубенец. Откованный из жёлтой меди, бубенец был похож на жёлтую кувшинку. В деревне такие бубенцы называли гремками.

Вбежал Проня с зайчонком на руках. Белячок спрыгнул на пол, нырнул в подпечье. Хвост мелькнул белым цветком.

Возле окна стоял цыганёнок. Он улыбался...

— Как тебя зовут? — храбро спросил Серёга.

— Михей...

— А пистолет настоящий?

— Там не пистолет, — насупился цыганёнок.

Он расстегнул кобуру. В ней лежали карандаши: жёлтый, синий, чёрный и красный. У меня захватило дух: этакое богатство!

Гремок звенел чисто, заливисто, отчаянно... Вошёл Сергей Сергеевич с тяжёлым портфелем. Шумно встали, шумно поздоровались. Всё было почти как до войны. Начинался первый урок...

Перед войной я окончил третий класс, и Сергей Сергеевич записал меня в старшую группу. Серёга попал в младшую: ему ещё и восьми не было.

Дежурный раздал самодельные ручки. Сергей Сергеевич достал из портфеля полдюжины пузырьков и два длинных алюминиевых патрона с сигнальными ракетами. На патронах были цветные полосы: на одном — красная, на другом — зелёная. Кривым гвоздём учитель разрядил оба



Первым уроком в старшей группе было чтение.

патрона, высыпал в пузырьки горючую смесь. Осторожно залил её горячей водой. На глазах совершилось чудо: в пузырьках были чернила — в одном зелёные, в другом рдяные, как калина...

Серёга открыл книгу в кожаном переплёте. На плотной бумаге теснились угловатые немецкие буквы. Под матовой калькой прятались яркие картинки. На рисунках были изображены древние воины. Один из них держал в руках железную шапку с коровьими рогами. Серёга обмакнул перо в красные чернила, подрисовал воину усы. Чернила растеклись в кляксу, и получилось, будто рыцарю расквасили нос.

— А вот счётные палочки...

И учитель высыпал на стол пригоршню пистолетных гильз.

Первым уроком в старшей группе было чтение. Сергей Сергеевич открыл хрестоматию, громко прочёл:

— «Заяц-русак». Рассказ Льва Толстого...

Будто наяву, я увидел овины, серые стога, раскатанную дорогу, пугливого русака, замершего среди сугробов. Вспомнил вдруг, как однажды вместе с отцом караулил зайцев на засидках. Сидели за кучей хвороста, около изгороди. В темноте смутно белели обглоданные яблони... Я первым увидел зайца, толкнул отца. Беляк перемахнул изгородь, присел, огляделся. Отец поднял ружьё... Грохнуло — и сад затянуло дымом. Зайца не было. На снегу остались только чёрные дымящиеся пыжи...

Учитель захлопнул книгу, подошёл к окну и... улыбнулся: Пронин заяц сидел под окном на сугробе. В зубах у беляка был пучок озими.

На перемене пили чай, носились как угорелые. Потом был диктант. Я писал зелёными чернилами, на бумаге, как озимь, светлели строчки.

Проня вдруг поднял руку, привстал:
— Сергей Сергеевич, а завтра... приходить?

— Приходить. И завтра, и послезавтра...
Наутро снова шли уроки.

В школу пришёл бригадир. Он снял шапку, пригладил волосы тяжёлой ладонью. Пронин заяц испуганно шмыгнул в подпечье...

Бригадир сказал, что колхозникам нужна помощь.

На краю деревни топился овин, набитый снопами овса. Мокрые снопы дымились, на глазах сохли. В колосниковой печке трещали берёзовые поленья. В золе и углях пеклась картошка.

У дверей суетились бабы: расстелили на земляном полу веретьё, принесли ореховые цепи. Мальчишкам ничего не нужно было объяснять. Проня принялся сбрасывать вниз сухие снопы. Заухали цепи, облаком поднялась жёлтая пыль. Сделалось жарко, шумно.

Я любил работать, когда рядом много людей. Мать и Серёга орудовали цепями. Серёга стал рыжим от пыли, весь пропах овсом. Мать до глаз закрывалась платком. Глаза у неё были весёлые...

Вдруг я увидел Прониного зайца. Не обращая внимания на шум, беляк спал около печки на снопах...

А наутро снова в школу — по крепким, пробитым в сугробах тропинкам, по лёгкому предвесеннему морозу...

В субботу последним уроком было рисование. Негромко шуршали карандаши, кто-то громко сопел. Я рисовал бой. У меня был только синий карандаш. Я нарисовал еловый лес, холмы. По полю бежали фашисты в сизых шинелях, по ним палили партизаны в голубоватых, как сугробы, маскировочных халатах...

Михей сначала вычертил кособокими буквами

подпись: «Ночное»... Бумага у него была серой, как летняя ночь. В полутьме полыхал костёр, цвели диковинные цветы, бродили по лугу кони. Михей рисовал одним красным карандашом, и все кони были одной масти — буланые...

Я не успел дорисовать пулемётчика: громко гудя, над лесом пронёсся самолёт. Все бросились к выходу. На поляне было светло, видно каждую снежинку. Рядом темнел лес. Я потащил за руку Серёгу. Рядом барахтались в снегу мальчишки. Что-то кричал учитель. Самолёт летел так низко, что сквозь стекло отчётливо был виден чёрный шлем лётчика. На коротких крыльях темнели кресты. Самолёт казался огромной совой. Впереди, как клюв, торчал ствол пулемёта. По снегу скользнула ломаная тень. Из ствола брызнуло пламя...

Я лежал, утонув в снегу. Серёга крепко прижался к сосновому пню. Остальные торопливо прыгали в занесённый снегом старый окоп. И тут я увидел зайчонка. Он метался по поляне. Набежал Проня, схватил его, но тут же выпустил, упал...

Самолёт шёл в новую атаку — нёсся над деревней, чуть не задевая колёсами крыши. Пулемёт бил без остановки, пламя металось, как факел на ветру.

И тут я увидел Сергея Сергеевича. Он бежал к Проне. Добежал, упал, закрыл собою. От пулемётной очереди облаком взвилась снежная пыль... Снова мелькнула тень самолёта. Привстав, учитель подхватил левой рукой Проню, потащил к ёлкам. Правая рука учителя беспомощно свисала. По рукаву ручейком сбегала кровь. Обессиленный рухнул в сугроб. Лицо Сергея Сергеевича было серым, очки разбиты.

Самолёт улетел. Сидя на пне, плакал Серёга. Мальчишки гуськом шли к деревне. Сергей Сергеевич поддерживал правую руку левой, как женщины держат запелё-

натого ребёнка. Пахло сгоревшим бензином и порохом...
Навстречу мальчишкам бежали бабы. Я увидел мать.

В воскресенье чуть заря зазвенел звонок. Сергей Сергеевич стоял на крыльце школы; в левой руке у него был звонок, правая, схваченная бинтами, висела на перевязи. Над лесом по-весеннему голубело небо, и солнце было тоже весеннее...

На перемене слепили снеговика, надели на него дырявую фашистскую каску...

РАТНЫЕ ЛУГА



Третья военная зима принесла тишину. Бои шли где-то далеко за лесами. Фашисты не появлялись уже несколько месяцев. Мы с Серёгой ходили в школу, мать работала бригадиром... Страшно было только самолётов: в солнечные дни с утра кружила над лесами «рама» — двухфюзеляжный самолёт-разведчик. Потом появлялись бомбардировщики. В ненастье самолёты не прилетали, и жизнь становилась спокойнее.

И вдруг мать пришла домой тревожная:

— Каратели рядом... Фашисты сняли с фронта целую дивизию, эсэсовскую...

— А кто это — эсэсовцы? — спросил Серёга.

— Отборные солдаты, самые головорезы. И оружие у них лучше... Хотят разбить весь наш край. У них приказ: всех людей взять в плен, а деревни сжечь. Даже изгороди сжечь приказано...

От страха Серёга забрался на печь.

...Ночью началась метель. Мело так, что в двух шагах не видно было человека. Нигде не стреляли, не проносились над лесом самолёты.



— И завтра стрелять не будут? — спросил братишка.
— Не знаю... — вздохнула мать.

Проснулись в темноту. Я вздрогнул от резкого треска. Опередив мать, бросился к окну. От леса, все в белом, бежали фашистские лыжники. По озеру катились тяжёлые аэросани. Озеро гудело как колокол.

Замерло сердце. Всё... Партизаны отступят, фашисты опять сожгут деревню. Могут сжечь даже с людьми.

Лыжники уже карабкались на берег, бежали по огородам. Огромные белые аэросани врезались в наш сад, смяли косотын и кусты смородины. Разгорячённый боем автоматчик остановился, отвинтил пластмассовую крышку с фляги, жадно выпил из горлышка. Взглянул на наши окна, сорвал с плеча автомат.

— Ложись! — завопила мать.

Брякнулись об пол... С сухим звоном, как лёд, на нас посыпались осколки стекла... Дохнуло стужей, запахом гари.

За деревней уже шёл бой... Били автоматы, пулемёты, пушки, ревели тяжёлые боевые машины...

По комнате гулял мороз. Серёга, укутанный в одеяло, хныкал. Мать встала, заткнула окна подушками. Стало темнее, но теплей.

На озере снова загудели аэросани: к карателям шла подмога. Заскрипел на дороге снег, закачались в сугробах сани с пехотой. Поверх зелёных шинелей у карателей были надеты рыбацкие шубы. Стоя на коленях, смотрел в бинокль офицер в шубе с меховым воротником...

И снова замерло сердце: справятся ли партизаны с такой силой?

Мать прислушалась, сказала хмуро:

— На Ратных лугах стреляют...

— Мам, а почему луга Ратные? — спросил Серёга.

— Потому что на них от веку кровь льётся. Место такое: река рядом, холмы — хорошо для боя. На Ратных лугах одних жальников не меньше ста — древние воины похоронены.

Мать говорила не торопясь. Когда говоришь, не так страшно.

— Старики сказывали, что здесь ханское войско останавливали, разбили передовой отряд. И ливонца здесь останавливали, и Литву. Что Ратные луга — весь наш край тысячу лет воевал. Как застава, на самом краю России...

Я не раз бывал на Ратных лугах. Там росла необыкновенно крупная земляника.

В июле, когда подошли фашисты, на Ратных бой шёл целые сутки.

Потом, когда всё стихло, я с мальчишками тайком отправился за лес. Бежали по тонкой тропинке, то и дело останавливаясь, прислушиваясь. Ещё издали мы увидели опрокинутый сгоревший грузовик. Рядом с грузовиком пестрели кресты из молодых берёз. На крестах висели зелёные рогатые каски... Чуть в стороне, в еловой гриве, стояла небольшая пушка.

Замирая от страха, подошли поближе. Упав на лафет, лежал красноармеец в гимнастёрке с чёрными петлицами. Вокруг, россыпью, будто сосновые чурбаки, желтели артиллерийские гильзы. Я первым приблизился к убитому. Левый сапог артиллериста был разрезан, ярко белел бинт. В правой руке намертво сжат пистолет; волосы — красные, слипшиеся.

Вечером хоронили погибших красноармейцев. На кургане, на краю Ратных лугов, выкопали глубокую яму — такую глубокую, что увидели кости древних воинов и серый перержавевший меч.

И вот снова на Ратных идёт бой...

— Только бы дальше не прошли... — Мать чутко прислушивалась к грохоту и выстрелам.

Не раздумывая, я вылетел на крыльцо. По улице катился бесконечный обоз. Полицай в бабьем тулупе пьяно орал. Увидев меня, зло выругался...

— Что, конец вашим? Сейчас вас, голубчиков, за проволоку, в бараки...

Полицай и солдаты весело загоготали. Деревня лежала молчаливая, словно чужая.

Вечером бой разгорелся ещё жарче. Над лесом мельтешили сигнальные ракеты. Белыми полосами прожигали темноту трассирующие пули. Трассы скрещивались, будто мечи.

Спать не ложились, сидели одетые. Около порога лежали узлы с вещами. Рядом с нами сидела тётя Дарья и её дочери: вместе не так страшно. Тётя Дарья крестилась на тёмную икону...

Я забылся и увидел Ратные луга — весёлые, летние. Будто тысячи радуг, играло красками покосное раздолье. Затрещало... Нет, нет, не пулемёт. Вспугивая зайчат, катилась по лугу светло-зелёная косилка. В упряжке бойко шла пара буланых, светлогривых коней. Девушка в белой косынке натягивала тугие, как струны, ремённые вожжи. Пахло шмелиным мёдом, мятой, донником...

Открыл глаза: за окном уже было светло. За лесом не стреляли. На кровати спал Серёга. Матери дома не было. Вылетев на улицу, зажмурился от белизны. Остановился... За деревней что-то трещало. По полю пронеслись аэросани. Одни, другие, третьи... В беспорядке, без выстрелов, отступали лыжники...

По огородам, как заяц, петлял очумевший от страха полицай. Он был без шапки, без винтовки. Крича, черпал валенками снег. Со всех сторон его окружали бабы. Мать

яростно размахивала коромыслом. Догнала полиция, ударила что есть силы. Огромный мужик кулём ткнулся в сугроб...

А опушкой леса уже торопились к деревне партизанские цепи. Как снежный ком, сорвавшийся с горы, лавиной катилось «ура».

Я вдруг вспомнил, что говорил про Ратные луга учитель Сергей Сергеевич: на Ратных всегда побеждали русские.

БЕРЕЗОВАЯ ГАЗЕТА...



Пришла весна. Мы с Серёгой радовались теплу и тому, что можно бегать босиком. С утра ловили рыбу на короеда, бралась крупная плотва. Играли с мальчишками, убегали в лес.

Бои шли за большаком, над деревней изредка пролетала шальная мина. Война словно обходила деревню стороной...

Уже третий год от отца не было никакой вести. Отец снился мне почти каждую ночь. Он был такой же, как до войны: плечистый, в сатиновой рубахе. Он что-то говорил, но что, я не мог понять...

В то утро разбудили меня мужские голоса. За столом сидели партизаны, пили из кружек молоко. Рядом с кринкой лежала противотанковая граната. Партизаны были молодые, совсем подростки. Лишь один постарше. Лицо его показалось мне знакомым. И тотчас вспомнил: перед самой войной он приезжал в нашу деревню в чёрной машине, пахнувшей внутри бензином и кожей. На пиджаке у приезжего было сразу четыре значка, под мышкой — жёлтый портфель. Отец сказал: «Это из редакции...»



На лавке горою лежали шапки партизан, под лавкой желтел туго набитый мешок. У окна стоял невиданный чёрный станок — видимо, от пулемёта... Серёга, как всегда, вертелся около партизан.

— Это оружие такое, да?

— О, ещё какое! — оживились партизаны.

Серёга недоверчиво покачал головой. Сидевшая в стороне мать улыбнулась. Партизаны переглянулись. Я ничего не понимал.

— А кто пулемётчик? — спросил братишка.

— Я, — весело сказал самый старший партизан и встал. — Хочешь помогать? Есть работа.

— Хочу, — важно кивнул братишка.

— Ну, а как тебя величать?

— Сергеем, — отозвался братишка.

— А меня — Андреем.

Мать быстро убрала со стола, и весёлый партизан одну за другой начал доставать из мешка диковинные вещи: узкие и широкие металлические динейки, пластинки, плоские банки; положил на стол стопу серой бумаги, деревянную коробку, разделённую перегородками на гнёзда. Я не выдержал, бросился к столу.

Стол завалили исписанными бумагами, принялись чертить, без конца повторяя незнакомые слова. Потом началось настоящее колдовство: молоденький партизан присел к коробке, и в его пальцах так и замелькали свинцовые плашки.

А самый старший партизан уже возился около станка. Запахло машинным маслом, краской. Внизу у станка была педаль, как у немецкого миномёта. Партизан резко нажал на педаль.

Это было настоящее чудо — я держал в руках газету. Она была совсем настоящая. Сверху — крупными строги-

ми буквами — название: «Народный мститель». В глаза бросился снимок: по снежному полю бежали солдаты со звёздами на касках. Автоматы. Длинные противотанковые ружья. Колючая проволока. Первым — невысокий бронебойщик. Лицо у бронебойщика было точь-в-точь как у нашего отца. Прочёл подпись: «Северо-западный фронт. Атака гвардейской пехоты». Фамилий бойцов не было. Я не отрываясь смотрел на снимок. Больно защемило грудь. Ко мне прижался братишка. Он вдруг притих. Посмотрел на снимок, на меня, на мать. Мать стояла ни жива ни мертва... Газета была как письмо от отца.

— Снимок-то взяли откуда? — заговорила мать, и я не узнал её голоса.

— Фотохроника ТАСС, — отозвался старший. — Привезли из тыла на самолёте. Вчера ночью, свеженький. И эту статью, и песню. А заметки и стихи — наши собственные...

— Это папка? — шёпотом спросил Серёга.

— Может, он самый, — наклонила голову мать. — А если и другой, всё равно сердцу радость. Наступает наша армия, бьёт проклятых. Может, и отца скоро увидим. Печатный станок работал громко и резко. Стопа газет росла... А я читал строку за строкой. «Заново отстраивается город Великие Луки».

В Великих Луках я бывал. Там жил мой дедушка. Меня возили к нему совсем ещё маленьким. Город я помнил смутно. Был какой-то магазин со взъерошенным чучелом медведя... Текла широкая река, кто-то пел удивительную песню:

Не спи, вставай, кудрявая...

Стопа газет росла, молодой партизанский редактор рукавом утирал пот, резко нажимал на педаль. Руки его были в типографской краске.

— Всё, — выдохнул облегчённо. И тотчас нахмурился. — Жаль, бумаги больше нет. Бумага — как золото...

Газеты уложил в трофейный ранец.

— Теперь — по деревням... — Редактор махнул рукой в сторону Кожина. Протянул четыре оставшиеся газеты: — Это для вашей деревни... Раздайте!

— Спасибо... — Мать схватила газеты, на ходу завязывая косынку. Метнулась к порогу.

Через минуту по пыльному летнику, грохоча, пронеслась телега. Один партизан держал на коленях ранец с газетами, другой крепко натягивал сыромятные вожжи.

Редактор уложил набор в мешок, долго возился со станком.

— Я думал, и вправду оружие, — хмуро сказал Серёга.

— Оружие! — Редактор положил руку на плечо братишке. — Ты подумай-ка, друг.

Серёга задумался, потом вдруг кивнул. Мне захотелось снова увидеть снимок, но не осталось ни одной газеты... Бумаги нет. После пожара не найдёшь и чистой тетради. В школе мы писали на чём угодно. Серёга любил рисовать. Вместо бумаги он брал берёсту, обдирал берёзовые брёвна. Весной, когда заново отстраивали деревню, партизаны притащили из лесу целую гору брёвен... Берёста была белой и упругой.

— Буду газету рисовать, — сказал вдруг Серёга. Достал из сумки карандаши, берёзовую кору.

Молодой редактор смотрел на берёсту как на чудо:

— В голову не пришло... Вечная газета... Надо только прокипятить, чтоб не коробилась. Как поплавки для сетей...

И взял у Серёги кусок берёсты, снова наладил машину и решительно нажал на педаль...

Получилось! Я не поверил своим глазам. От берестяной газеты пахло краской, ярко чернели буквы, рисунок вышел чётким и ярким. Полоски на коре совсем не мешали — казалось, это летят пули.

Сначала мы драли берёсту втроём: редактор, я и Серёга. Потом набежали мальчишки. Орудовали тесаками, ножами, острыми щепками. Гора берёсты росла... Потом её парили в котле, распрямляли, сушили... Вечером снова заработала печатная машина. Уснули мы с Серёгой поздно. Под подушкой у меня лежал бесценный подарок — берёзовая газета.

Приснился отец: он был точно такой же, как бронбойщик на снимке, и бежал в атаку с длинным противотанковым ружьём.

ИВАН ФИГУРЁНОК



Весна обрушила дороги, затопила поля и овраги. В борах стояла тишина, нигде не стреляли, не слышно стало взрывов. Мальчишки и старики пропадали на озере. Наспех устраивались заколы: в вязкое озёрное дно вбивали жерди, опускали еловый лапник. Возле заколов ставились мережи и сети...

Но дороги подсохли, ручьи вошли в берега. Тишина стала тревожной, глухой. Никто не радовался солнцу. Я выбежал утром на крыльцо и замер: над лесом стояли облака сизого дыма.

Говорят: умирать собирайся, а поле сей. На лугах уже шла работа. Пахали бабы, в плугах шли калеченные старые кони.

Звонко постукивал топор... Это снова взялся за дело дед Иван Фигурёнок. Работал он всегда на улице, на берегу озера. Рядом толклись любопытные: всё, что делал дед Иван, было чудом. Фигурёнок был лучшим в округе прялочником. Каждую сделанную им прялку можно было рассматривать часами: в узорах, в кружевах, и не было



двух похожих. Дед Иван долбил для рыбаков челны, вытёсывал вёсла, обшивал дома, дарил мальчишкам сосновые пугачи. Когда я родился, меня положили в колыбель, сделанную Фигурёнком, подросток — принесли лыжи «от деда Ивана». Дома в деревне щеголяли наличниками Фигурёнковой работы, а сам он жил в кособоком домишке с кривыми воротами. Просто так, задарма, дед Иван ставил на ручье нарядные берёзовые лавы, построил возле школы качели...

Заслышав стук топора, я заторопился к озеру. Дед Иван тесал сухую колоду, готовил новый чёлн. В траве россыпью лежали инструменты. Фигурёнок был в чёрном картузе, в кожаном фартуке и в валенках, несмотря на тёплую погоду. В стороне стояла бутылка с молоком, заткнутая пучком соломой. Работая, старик не замечал ничего вокруг. Лёгкое тесло словно оживало в его руках. Дерево весело брызгало щепой, кряж на глазах превращался в челнок с широкими боками, округлой кормой и острым носом. Изредка дед Иван отходил в сторону, смотрел, обдумывал...

Мне хотелось подойти поближе, но дед Иван не любил, когда ему мешали. Даже своим внукам он не разрешал брать инструменты. А когда Фигурёнку кто-нибудь давал совет, дед начинал ругаться...

Большие, тёмные, как еловая кора, руки деда Ивана цепко держали тесло, несильными ударами он легко вёл глубокую затесь. Я ловил каждое движение. Уже казалось, что и я могу так. Осмелев, подступил поближе, в страхе замер. Дед Иван оглянулся, подал мне инструмент. Но руки были словно деревянные, у меня ничего не получалось.

— Ещё научишься... — прищурился дед Иван. Он присел на траву, открыл бутылку с молоком. Боро-

да и волосы у него были такими же белыми, как молоко.

Сначала мне показалось, что за лесом гремит вешний гром, но небо было чистым, и я понял: бьют орудия. Грохотало всё громче и громче...

— Наши идут! Армия!

Стоя на коленях, дед Иван торопливо собирал инструменты.

Гремело за лесом, за большаком, за холмами. С рёвом над самыми крышами пронеслись три истребителя. На крыльях их алели звёзды. Где-то совсем рядом зачастили автоматы и пулемёты. На озими столбом поднялась чёрная земля...

И вдруг я увидел фашистов. Их было много, и они отступали... Они шли с востока.

Люди — вся наша деревня — бежали к озеру. Под берегом темнели провалы старых окопов. Я спрыгнул в первый попавшийся, с трудом нашёл место в углу. Рядом оказался дед Иван. Он бережно прижимал к себе мешок с инструментами. Старухи крестились. Кузнечиха со страха надела на голову ведро. В окопе пахло гнилью, прелой соломой...

Послышался отрывистый стук: берегом озера бежали немцы.

— Вылезайт! Живо! Шнель!..

Голос шёл сверху. Над ямой стоял фашист. Сначала я увидел шевровый сапог. Рядом с сапогом белела наспех забинтованная нога. Фашист был долговязый, бледный, в каске, в сером суконном мундире. В руках он держал ручной пулемёт.

Едва окоп опустел, пулемётчик спрыгнул вниз, ловко установил пулемёт... По берегу озера, спотыкаясь, падая, бежали немцы. Скатывались под откос, прыгали в воду, бросали карабины и автоматы. Облепили старенькую

плоскодонку, оттолкнулись от берега. Кто-то тащил свиное корыто. Кто-то пытался пробиться сквозь камыши. По плёсу плыла оброненная пилотка. Лица солдат были серыми от страха...

Я забился в кусты, оглянулся. Фашист целился из пулемёта. Около бруствера лежали открытые коробки с пулёмётными лентами... Грянула короткая очередь. Лицо пулёмётчика перекосилось, щека крепко впечаталась в приклад. Через плечо, кувыркаясь, летели гильзы, кисло запахло порохом...

Фашист кривился всё сильнее, — казалось, он смеётся. Пулемёт бил по краю деревни. Вспыхнула камышовая крыша на нашем сарае, огонь переметнулся на коровник, побежал по соломенным скирдам.

Солома горела, будто порох. Заметались перепуганные коровы. Крича, кувыркаясь, пролетели над дорогой перепуганные куры. Повалил дым. Облако дыма двинулось к озеру, подступило к опушке.

Теперь я видел: немец и вправду смеётся. Ствол пулемёта метался из стороны в сторону.

Из пламени выметнулся петух, с перепугу влетел в речку. Крылья были опалены, черны от гари. Ветер поднял облако горячей золы...

Пулемётчик устало вытер лицо рукавом, поправил каску. Из-под каски катился пот. Озарённое пожаром лицо было красным, будто кумач.

— Старик! Воды! Живо! — Пулемётчик зло взглянул на деда Ивана, расстегнул ремешок каски, швырнул каску в траву.

Дед Иван подполз, дотянулся до каски, на четвереньках спустился к воде, зачерпнул, вскарабкался наверх.

Пулемётчик пил короткими глотками, острый его кадык дёргался, будто затвор карабина.

Вдруг дед Иван привстал, ухватился за ствол пулемёта и изо всех сил швырнул под кручу тяжёлую чёрную машину. Бесшумно, будто щука, пулемёт ушёл в тёмную воду...

Пулемётчик выронил каску, в правой руке у него был чёрный тесак. Ударил старика в лицо, сбежал под берег, стащил сапог, прыгнул в воду, быстро поплыл.

Озеро около деревни было нешироким. Пулемётчик быстро его переплыл. Вскарабкался на обрыв, оглянулся.

— Наши! — закричали рядом.

В дыму бежали бойцы и партизаны. Их было много. Резко стучали автоматы.

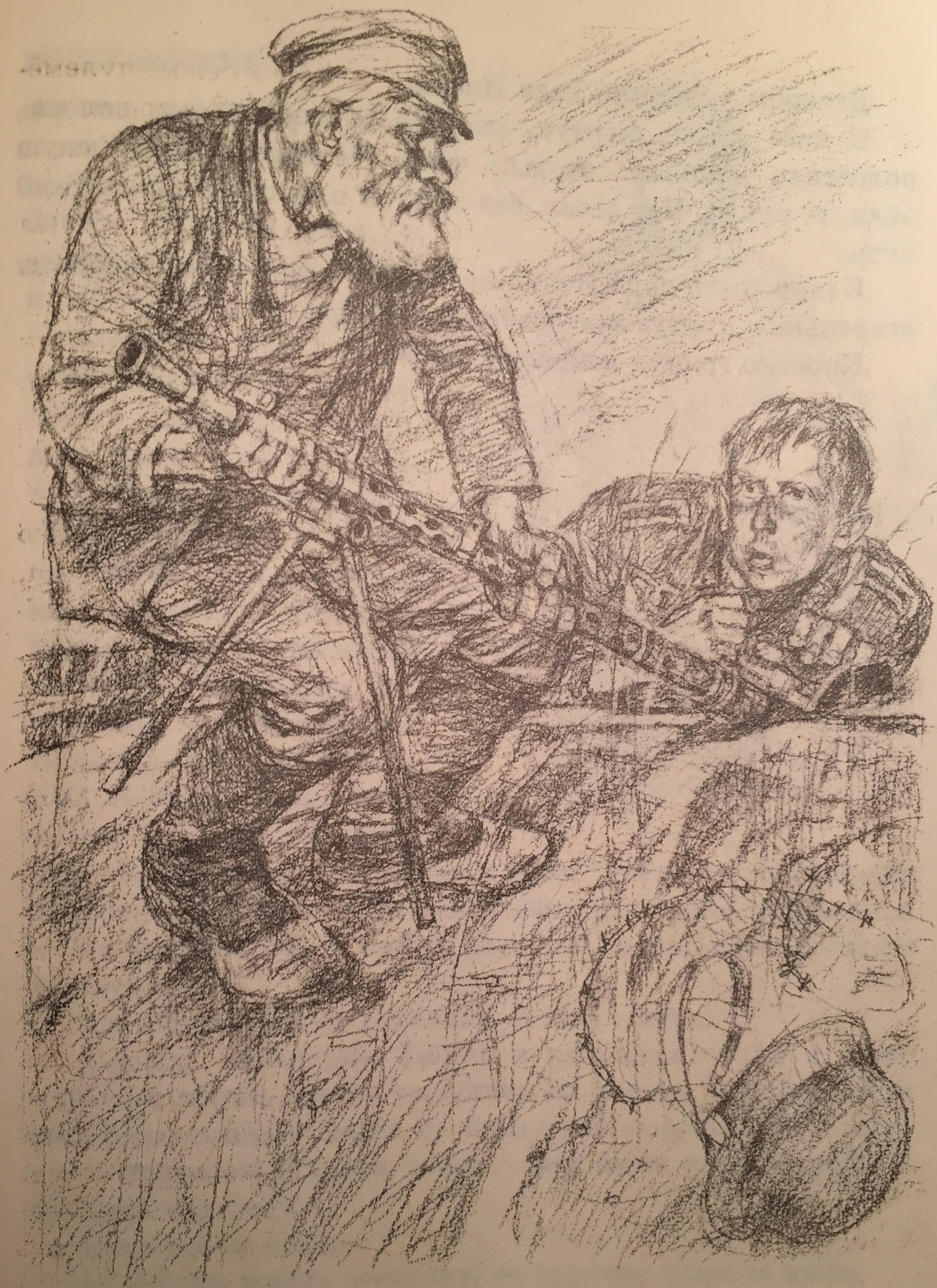
Дед Иван лежал, разметав руки. Вместо лица у него было красное пятно. Большие, тёмные, как еловая кора, руки деда Ивана были словно живые... В траве змейёй медянкой извивалась пустая пулемётная лента.

Люди, осмелев, поднялись на берег. Глаза ел густой дым. Кузнечиха сняла с головы ведро, бережно держала его в руках. Мать грустно сидела на узле с вещами.

Сарай догорал... Снопы огня выбивались из-под обугленных брёвен. В дыму мычали очумелые коровы. Темнел опалённый сад... Плакал Серёга, слёзы его были чёрными от сажи. Трава стала горячей, сухой.

Нестерпимо пахло горелым. В траве, как ненужный сор, желтели стреляные гильзы. Было, будто в бане, жарко и душно...

Грохоча, пронёсся огромный, как гора, танк с пехотинцами на броне. С автоматами в руках бежали бойцы в выгоревших на солнце, светлых, как солома, гимнастёрках. На плечах у бойцов были зелёные погоны — прежде погон не было... Люди выбегали навстречу, обнимали солдат, целовали. Но бойцам было некогда, они рвались в бой...



Дед Иван ухватился за ствол пулемёта.

Вечером хоронили деда Ивана.

С него сняли фартук, расчесали ещё густые волосы, положили в почти готовый чёлн. Четверо бойцов несли чёлн на руках. Без вёсел, без паруса плыл он в последний путь.

Похоронили деда Ивана на берегу озера. Лицо закрыли стареньким картузом с зелёным козырьком.

Коротко грянул воинский салют.

ВОЗВРАЩЕНИЕ



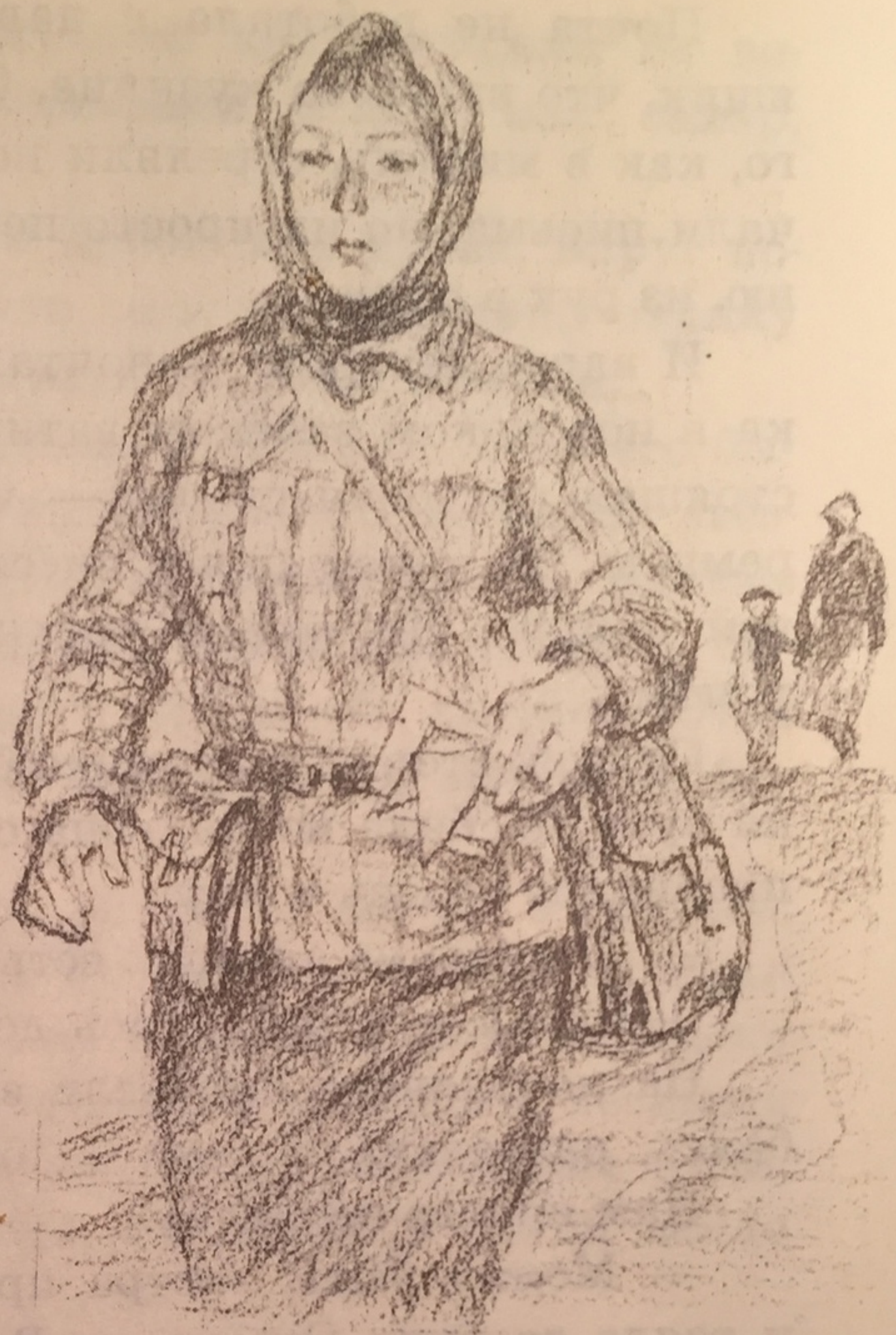
Война ушла из леса, и вместе с нею ушли бойцы и партизаны...

Солдаты шли походными колоннами. На зелёных погонах золотилась пыль. Кирзовые сапоги были отбелены росой, выгоревшие на солнце гимнастёрки желты, как солома. Вещевые мешки, фляги, автоматы, пилотки с зелёными жестяными звёздочками. Колонна шла за колонной. Я стоял у обочины, цепко смотрел в лица бойцов. Солдаты улыбались в ответ. Рослый бронебойщик протянул мне яблоко, молодой офицер с одной звёздочкой на каждом погоне подарил дорогую, сверкающую никелем зажигалку.

Но ничто меня не радовало. Я ждал отца...
Прошла кавалерия. Парни в кубанках поили в озере чубарых коней, потом умчались на рысях в туман. Шли связисты, сапёры, ехала на бронетранспортёрах мотопехота. С грохотом прошли танки. Они были куда грозней и быстрее «тигров».

Отца всё не было...

— Будем ждать весточку, — грустно сказала мать.



Почта не работала с давних пор. Голубой почтовый ящик, что висел на кузнице, был изрешечен пулями: в него, как в мишень, стреляли полицаи. Иногда люди и получали письма, но их просто передавали из деревни в деревню, из рук в руки.

И вдруг вечером — почтальон. По деревне шла девушка в новеньком зелёном ватнике. На боку у неё была настоящая почтовая сумка — чёрная, кожаная, с широким ремнём. На узком поясе висел тяжёлый наган в брезентовой кобуре. До войны наган был только у начальника почты...

Со всех сторон к девушке бежали люди. Дарья Порошина чуть не сбила почтальона с ног. Серёга и мать с трудом пробились сквозь толпу.

— Письма из армии... есть?

— Есть! — улыбнулась девушка. — И газеты!

На почтальона смотрели затаив дыхание. И она, улыбаясь, раздавала письма — белые и серые треугольники.

Нам ничего не было...

— Может быть, завтра принесут... — вздохнула мать и взяла за руку Серёгу. — В войну письма медленно ходят...

Я караулил почтальона за деревней, около самого леса. Девушка приходила в один и тот же час. Но письма от отца всё не было...

Мать ушла в сельсовет — узнавать. Но ничего не узнала, вернулась грустная:

— Может, в госпитале лежит. А может, и не знает, что нас освободили... Бывает, и письма не доходят... Разбомбят поезд, подожгут машину...

Когда в доме никого не было, я подходил к окну, доставал из жестяной коробки единственную уцелевшую фотографию отца. На снимке отец был совсем молодым, в на-

рядной рубашке с металлическими квадратиками на воротнике. Отец улыбался, показывал белые, как сахар, зубы...

Было утро. Я укладывал в поленницу дрова. Вдруг почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Выронил охапку поленьев. Обернулся. Рядом стоял солдат в шинели...

Это был отец. Я узнавал его и не узнавал. Лицо его было тёмным, как холст. Шинель. Пилотка с жестяной звёздочкой. Пояс. На поясе обшитая войлоком фляга. Яловые сапоги. Я бросился к отцу, крепко прижался. Шинель была старой, неколкой, с запахом табачных листьев. Отец молча положил мне на плечо правую руку.левой не было — висел пустой рукав.

Сбежал с крыльца Серёга, замер на месте. Улыбаясь, отец одной рукой подхватил нас обоих, крепко прижал к себе. Под шинелью зазвенели медали. Я близко-близко увидел лицо отца — доброе, усталое, с зелёными, лесными глазами. На виске темнел шрам. Будто автоматные пули, светились металлические зубы. От зелёных погон веяло порохом и войной.

Опустив нас с Серёгой на землю, отец подошёл к высокой старой берёзе, погладил ладонью чёрствую кору. С крыльца сбежала мать, обняла отца. Вынесла корец с брусничной брагой, но отец только пригубил её. Потом молча отстегнул флягу, сошёл к озеру, набрал во флягу воды. Пил долго, глотками, будто молоко. Присел на старую корягу, долго смотрел на плёс.

Озеро светилось как расплавленное олово. По плёсу без опаски плавали дикие утки.

— Сети целы? — спросил отец негромко.

— Сгорели, — так же негромко ответила мать.

— Не беда, поставим вечером перемёт...

Вернулись к дому. Отец взял топор, поточил его о се-

рый камень. Поправил крыльцо, расколол гору сосновых плах, починил покосившуюся изгородь, срубил сгоревшие яблони. И одной рукой он работал почти так же ловко, как двумя.

Мы с Серёгой не отставали ни на шаг.

Мать хотела что-то рассказать, но отец сурово покачал головой.

— Не сейчас... Потом... Дай осмотреться...

Весть о том, что наш отец вернулся с войны, мигом облетела всю деревню. Мальчишки облепили ограду, один за другим подходили взрослые, степенно здоровались, уходили, посветлев лицом. Словно на заказ, над лесами золотились горы света. Давно не было такой тёплой погоды. И лучи солнца были словно ладонь отца — горячими, ласковыми. Пахло смолой, травами, пашней...

Отец отложил топор, подал руку Серёге.

Около озера, оступаясь, шла за плугом Матрёна Огурцова. Буланый трофейный мерин плыл словно аэростат. Плуг был старый, обгоревший на пожаре, с держакими из гильз от противотанкового ружья. На солнце ярко чернели отвалы щедрой луговой земли. Конь плохо слушался Матрёну, двигался тяжело и тупо...

— Дай-ка попробую, — подойдя к ней, сказал отец.

Матрёна протянула вожжи, тяжело вздохнула. На лице её каплями росы горел пот.

Отец накинул вожжи на шею, уцепился рукой за правый держак. Почуввав мужчину, конь пошёл споро и ровно. Плуг глубоко вошёл в землю...

— Как по маслу! — весело крикнул отец.

Он работал до самого вечера. Когда стало жарко, сбросил шинель. Фляга с водой покачивалась на поясе, и отец то и дело отпивал глоток-другой... И пашня растекалась, как разлившаяся речка...



Отец подошёл к берёзе, погладил чёрствую кору.

Наутро меня разбудил треск мотора. Машины, танки? Вскочил, бросился к двери, вылетел на середину двора. По улице, пыхая синим дымком, катился колёсный трактор. Острые шпоры блестели на солнце. Трактор тащил рядовую сеялку. А за рулём сидел отец, и рядом с ним бился на ветру маленький красный флажок. Я вспомнил, что партизаны прятали тракторы в лесу, в глубоких песчаных ямах, смазывали солидолом, укутывали мешковиной. За трактором толпой шли взрослые, впереди бежали мальчишки... Всё было как тогда, в добрый довоенный год. Вместе с трактором в деревню возвращалось что-то такое, чего я ещё не мог выразить словами...

ОГЛАВЛЕНИЕ



Тихое воскресенье	3
На своём дворе	8
Митькина пушка	14
Серёга и гуси	18
Комендатура	24
Ивовая корзинка	31
Горькие ягоды	38
Снег	41
Тихий немец	45
Балалайка	51
Хлеб	56
Цыганёнок	59
Гриша-мороженщик	64
Тигровая кошка	68
Валенки	74
Особое задание	79
Лес деда Семёна	85
Шелешнёвский бой	91
Ночной сенокос	97
За солью...	101
Василий из Перетёса	107
Золотая поляна	111
Ночные костры	118

Клад	124
Горячие гильзы	128
Печка	137
Моя школа	142
Ратные луга	150
Берёзовая газета...	155
Иван Фигурёнок	160
Возвращение	167

для младшего школьного возраста

Алексеев Олег Алексеевич

ГОРЯЧИЕ ГИЛЬЗЫ

Повесть



Ответственный редактор Л. И. Доукша. Художественный редактор Л. Д. Бирюков. Технический редактор С. Г. Маркович. Корректоры Н. А. Сафронова, М. Б. Шварц. Сдано в набор 3/II 1972 г. Подписано к печати. 26/VI 1972 г. Формат 70×90^{1/16}. Печ. л. 11. Усл. печ. л. 12,87. (Уч.-изд. л. 8,45). Тираж 100 000 экз. ТП 1972 № 213. Цена 48 коп. на бум. № 1. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский полиграфкомбинат детской литературы Росглавополиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46. Заказ № 580.

Дорогие ребята!

*В издательстве «Детская литература»
в 1972 году вышли и выходят в свет книги:*

Глушенко В. * ПОВЕСТИ.

В КНИГУ ВХОДЯТ ПОВЕСТИ: «КУКТЫ ЧАПОГИР ГОТОВИТСЯ В ДОРОГУ», «КРАЙНЯЯ ТОЧКА» И «КИРИЛЛЫЧ». ЭТО ПОВЕСТИ О РЕБЯТАХ, ЖИВУЩИХ В РАЗНЫХ КРАЯХ НАШЕЙ РОДИНЫ

Драгунский В. * НА САДОВОЙ БОЛЬШОЕ ДВИЖЕНИЕ.

ВЕСЕЛЫЕ РАССКАЗЫ О ЖИЗНИ ДЕНИСКИ, ЧЕСТНОГО И СМЕЛОГО МАЛЬЧИКА

Железников В. * ХОРОШИМ ЛЮДЯМ — ДОБРОЕ УТРО!

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ. ГЕРОИ ЭТИХ ПОВЕСТЕЙ И РАССКАЗОВ — НАШИ СОВРЕМЕННОКИ, ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Крапивин В. * ПОСМОТРИ НА ЭТУ ЗВЕЗДУ.

КНИГА РАССКАЗОВ О ПИОНЕРАХ РАЗНЫХ ЛЕТ

Лиханов А. * ЧИСТЫЕ КАМУШКИ.

ПОВЕСТЬ О ПЕРВОМ ПОСЛЕВОЕННОМ ГОДЕ, О МАЛЬЧИКЕ И ЕГО СЕМЬЕ

Сотник Ю. * КАК МЕНЯ СПАСАЛИ.

ВЕСЕЛЫЕ РАССКАЗЫ. ГЕРОИ РАССКАЗОВ — СМЕЛЫЕ, ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА, НЕУТОМИМЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ

Чуковский Н. * МОРСКОЙ ОХОТНИК. ДОМИК НА РЕКЕ.

В ЭТИХ ПОВЕСТЯХ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ГЕРОИЗМЕ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И О ПОМОЩИ ДЕТЕЙ ВЗРОСЛЫМ.

Эти книги по мере выхода их в свет можно приобрести в магазинах Книготорга и потребительской кооперации.

*** * ***



Цена 48 коп.

